Важдаев В

По стойбищам
народа нибах

ВИКТОР
ВАЖДАЕВ

ПО СТОЙБИЩАМ НАРОДА НИБАХ

Рисунки и обложка
художника В. БЕЛЯЕВА

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ — 1934

Редактор *Н. Родионов*. Техред *М. Лойтерштейн*
[illegible]тано в произв. 2/VIII-1934 г. Подписано к печати
[illegible]/X-34 г. МГ — 4384. Инд. Д-4 Формат бум.
[illegible] $110^1/_{32}$. 12 печ. л., 10,8 авт. л. Уполном. Главл.
[illegible] 508. Тираж 10 000. Зак. 1256.

[illegible]графия треста «Полиграфкнига»
[illegible] Москва, Варгунихина гора, 8.

Виктор Важдаев. По стойбищам народа Нибах.

Далеко, на краю Азии, там, где огромный Амур впадает в Татарский пролив по берегам материка и острова Сахалина, у Охотского моря и залива Счастья, у подножий тайги и гор,— в древних стойбищах живет племя «загадочного» краевого народа Азии — гиляки.

Они бьют острогой морского зверя и перед началом сезона лова рыбы приносят богу моря Толль-Нибаху жертву. Они ездят на собаках зимой и летом и едят сырое мясо. В стойбищах выращивают гиляки медведей и убивают их в день родового праздника Медведя.

Невдалеке от стойбищ выросли серые громады корпусов. Это рыбные и зверобойные промысла, консервные заводы, школы, больницы, склады, пристани... В маленьких хижинах загораются огни электричества, бронзовый с черной косой гиляк говорит по телефону. Он приходит на завод и подолгу глядит на черные машины. Крик умирающего медведя все реже слышится на берегу Татарского пролива, и первые люди народа Нибах уже отказались от вековых устоев, суеверий и темноты. Новый человек рождается к новой жизни. Этому посвящены страницы книги.



У моря.

Глава первая

РЕКА ЧЕРНОГО ДРАКОНА

Поезд ушел в 5.45

Вы думаете, это так просто — «уехала экспедиция»? Подписали договор, получили «авансик» и — пожалуйте в международный вагон! А ну-ка, попробуйте, побегайте по учреждениям, магазинам, заготовьте снаряжение, продовольствие, закупите все нужное в дорогу, подготовьте инструментарий! Сделали? Прекрасно. Теперь, пожалуйста, нагнитесь — я навалю на вас этот куль. Не бойтесь! Он весит всего только шесть пудов. Тащите его вон туда. Да поживей, потому что потом мы понесем вот эти кули и те ящики. Живо, живо! Ведь до от'езда осталось так мало дней...

Вы привезли все это к себе в учреждение. Снесли груз в специальное помещение. Очень хорошо. Только, пожалуйста, не садитесь отдыхать с таким видом, точно вы именинник. Берите молоток, гвозди и заколачивайте ящики. Да сначала уложите в них хорошенько ваши грузы. Смотрите, чтобы сливочное масло не попало вместе с сапогами! Что вы делаете? Разве можно так забивать гвозди? Они торчат из ящиков, как клыки у зверя. Что? Вы хлопнули себе по пальцу? Это не беда. Это всегда бывает так, когда за молоток берется статистик. Обмотайте ваш палец тряпочкой и работайте дальше. Ведь поезд уходит...

Когда уезжает экспедиция, об'является аврал. Аврал — это когда все, от начальника и до самого младшего сотрудника, работают одинаково упорно без ограничения времени — столько, сколько нужно. Вы устали? Это не беда! Отдохнете потом, в поезде...

Все кончено! Забит последний гвоздь. Мы в вагоне. Поезд уходит в 5.45.

Вечер еле виден. Мы спим, дремлем, едим и спим. Ах, как хорошо! Все волнения остались в Москве, даже если что и забыто, то не беда. Путь начат.

На Амуре

«Первое, что бросается в глаза, когда в'езжаешь в Хабаровск,— это церковь», утверждает «Путеводитель путешествия его императорского высочества государя наследника цесаревича». Прославленную путеводителем церковь, стоящую на одном из трех хабаровских холмов, за новыми домами не видно. Да оно и понятно. Ее переросли новые дома нового города, столицы Дальнего Востока.

...На главной улице вытянулись рядами просторные новые дома крайисполкома, банка, партактива, школ... Светлые корпуса высятся над городом и блестят стеклами огромных окон. Главная улица ведет к берегу. Там течет Амур, и впадает в него Уссури. Мне довелось быть в Хабаровске в 1928 году. С тех пор город не узнать. Выросла главная улица, на окраинах протянулись ввысь стройные колонны труб, заводской дым окутывает жаркое небо.

По городу снуют автомобили, автобусы. Над городом вьются самолеты, и паровозные гудки перекликаются с пароходными сиренами. Город деловит и молод. Скучать в Хабаровске некогда. Весь день проходит в напряженной, деловой работе. Молодежь заполняет хабаровские учреждения и предприятия.

После работы жители города отдыхают на берегу Амура.

По деревянным мосткам бегают, скользя, загорелые, крепкие фигуры в трусиках и купальных костюмах. Они плещутся в воде, бурным «кролем» бороздят ее спокойную гладь, ныряют, и взрывы смеха наполняют жаркий, летний день бодростью и молодостью.

Люди умеют отдыхать.

К нам подходит девушка в черном блестящем от воды купальном костюме. Сегодня я поругался с ней в учреждении, требуя немедленно сводку по нашему району. Она обещала приготовить назавтра.

— Ну, товарищ Попова, завтра приду, готовьте сводку!

Девушка не обращает внимания на мои слова. Она сжимает рукой край своего костюма, и по загорелой, крепкой ноге бежит веселая струйка воды.

— Пойдемте прыгать! — улыбнувшись, говорит она. — Кстати, сейчас меня зовут не товарищ Попова, а просто...

...Руки поднялись вверх, к солнцу, потом сразу опустились к бедрам, ноги слегка согнулись в коленях, и, легко отделившись от трамплина, загорелой стрелкой мелькнула девушка в воздухе и скрылась в воде.

«Колумб» шел на север

Наконец все дела закончены. Собраны необходимые сведения в краевых организациях, получен багаж, перевезен на пристань и погружен при нас на пароход.

Приняв пассажиров, «Колумб» ушел на пристань-ветку грузить уголь.

На третий день бункеровки капитан взошел на мостик и справился в машинном отделении о давлении.

— Девять! — крикнул машинист.

— Пошуруй малость, — нагнулся капитан к трубке. — отходной давать будем!

Старые традиции Волги, Днепра, Оби и Енисея сильны и на Амуре. Рев сирены должен быть красив и могуч. Не доглядишь за паром — и зашипят белые клочья в медной дудке, и завизжит сиплым криком сирена. Хороший «голос» — краса и гордость парохода.

Из трубы сильнее повалил черный дым. Видно, «внизу» старались, шуровали. Потом капитан, не глядя на вахтенных, взялся обеими руками за ручки сирены и сразу потянул их. Белый пар, прорываясь сквозь медь, тяжелым басом закачался в воздухе. Мощный рев, как лава, растекался над рекой.

«Колумб» медленно развернулся и, постепенно ускоряя ход, поплыл вниз, к далекому устью, туда, где мутные воды Амура теряются в бешеном просторе штормующей воды, туманов и ураганных ветров Татарского пролива и Охотского моря...

«Колумб» шел на север.

Кто мы?

В кают-компании сидел человек в очках, лет двадцати восьми на вид, и ел консервы «фаршированный перец». У него были пухлые губы бантиком, высокий лоб и внимательные глаза. Он жестом пригласил меня сесть против него в кресло и, тщательно выуживая остатки морковного подлива со дна банки, сказал многозначительно:

— Я знаю, кто вы. Будемте знакомы. Кулыгин. Заместитель редактора «Тихоокеанской звезды».

— Очень рад. Однако вы ошибаетесь, мы не думаем скрываться. Но все же интересно знать, что вы знаете о нас?

— Это ваша статья была в «Тихоокеанской звезде»?

— Да.

— Ну, вот видите. Это во-первых, а во-вторых...

— А во-вторых, позвольте, я сам расскажу вам о нас. Вчера председатель судкома просил нас сделать сообщение о том, что мы за экспедиция. Команда интересуется. Сейчас, кроме вахтенных, мы застанем в кубрике всех. Просили быть точно в шесть.

Мы спускаемся вниз. Кубрик — большое помещение на корме парохода. По бортам койки в два этажа, посреди стол, чайник, сахар. Нам придвинули чашки. Пар вился над ними, и, помешивая ложечкой горячий напиток, один из нас начал говорить.

— Итак, зачем мы едем? На огромной территории крайнего севера живет около миллиона трехсот тысяч людей двадцати пяти национальностей. Мы далеко недостаточно осведомлены о жизни и внутренних экономических взаимоотношениях людей севера. Между тем точное знание этих условий, знание того человеческого и хозяйственного материала, с которым мы имеем дело сейчас, с которым придется оперировать в ближайшем будущем, не менее необходимо, чем знание природных ресурсов севера. Поэтому решено было максимально использовать предстоящую всесоюзную перепись населения 1934/35 года для изучения экономики северного хозяйства. Поэтому в будущей всесоюзной переписи крайний север выделен особо, и, в отличие от остальных районов Советского союза, там будет произведена не только «демографическая» (то есть населения), но и хозяйственная перепись, которая определит современную социальную и производственную структуру северного хозяйства, даст характеристику сдвигов, происшедших за последние годы, и процессов обобществления. Кроме того перепись даст исчерпывающие сведения о состоянии основных отраслей народного хозяйства крайнего севера, техники производства, организации снабжения и сбыта, организации кочевого хозяйства. Такого рода материал безусловно необходим как для текущей практической работы советских организаций, так и для построения перспективного плана развития народного хозяйства крайнего севера.

В связи с отсутствием опыта в отношении хозяйственных переписей на крайнем севере Управление народнохозяйственного учета Госплана решило провести в этом году опытную перепись, для проведения которой из Москвы выехали три партии.

Первая направилась в Большеземельскую тундру, вторая — на Подкаменную Тунгуску и наконец наша, третья партия —

к устью Амура. Из Николаевска-на-Амуре сотрудники нашей партии раз'едутся в разные стороны: назад, вверх по Амуру до стойбища Тахты, в тайгу — к озерам Чля, Орель, на побережье — от мыса Литке до мыса Меньшикова и от мыса Пронги до мыса Лазарева, по берегу Татарского пролива, по островам Удд, Лангр, Частым... Наш путь — к гилякам, народу, обитающему в этих местах, на рыбные и зверобойные промысла, к оленеводам, охотникам и приискателям.

Таков наш первоначальный план.

Наша задача: провести опытную перепись в этих районах, проверить инструментарий, т. е. бланки и формуляры, выяснить степень их полноты и пригодности, изучить способы описания отдельных элементов хозяйства.

Кроме того, проводя пробную перепись, весь состав экспедиции, состоящий из квалифицированных специалистов, приобретет необходимые навыки и знания для проведения хозяйственной переписи крайнего севера. Для этого наша партия должна переписать семьсот пятьдесят оленеводческих, рыболовецких и зверобойных хозяйств.

Говоривший кончил. Матросы слушали внимательно, молча. В кубрике было душно. Жара проникала в большие окна, жара подступала снизу из кочегарки. По неубранному столу бродили сонные мухи. Тогда встал парень в синей робе, разом сдвинул в сторону чашки, стоявшие возле него, и сказал:

— Вот что, друзья. Дело конечно у нас одно. Вы его делаете вашими бланками, карандашами, ученостью, которой обучились в университетах и институтах. Мы — нашей «посудиной», руками, масленкой, вахтой. Мы возим грузы северу. Мы возим людей на север. Вы изучаете жизнь этих людей, их работу и нужду. Фарватеры у нас разные, но курс — один! Так ли я говорю, товарищи? А раз так, — продолжал он, — то разрешите мне, закончив свое слово, от имени судкома и команды предложить вам поспорить с нами. Мы обязуемся перевезти все грузы и пассажиров, которые назначены нам нашим планом. Вы привезете в Москву все материалы о семистах пятидесяти хозяйствах. Все до единого! Ни на одно хозяйство меньше! Ни на килограмм груза меньше плана. Идет? Еще мы пожелаем вам, — закончил он, — от всей, что называется, души, товарищи, мы пожелаем вам счастливого пути, успеха в работе, чего, надеюсь, желаете и нам, и чтобы победили не только мы, а все — на всех фарватерах страны, чтоб победило дело, которое мы создаем вот этими руками...

Косинус фи

Идем со скоростью восемнадцать-двадцать километров в час. Стоянки — минутные. Не отдавая якоря, сбрасываем несколько ящиков груза, и пароход идет дальше. Купаться не успеваем, остановки коротки. Зато на верхней палубе, у штурвальной рубки, очень хорошо. Можно загореть и отдохнуть. Амур замечательно красив. Великолепный песчаный пляж тянется вдоль всего берега. За ним березовая роща. Налево невысокий густой кустарник. Вдали подернутые предвечерней дымкой горы. Над нами чистое, голубое небо, а внизу Амур, синий-синий, мощный и широкий. Дует свежий прохладный ветер, на мачте колышется флаг, и вниз по реке, на север, плывет наш «Колумб», перегоняя волны.

Первый помощник капитана Щербань в плену у Любочки. Это любимица всего парохода. Любочка — беленькая девочка с синими глазами. Щербань носит ее на руках, показывая пароход. Он останавливается около нас.

Занятный человек Щербань! Любочка дергает его за волосы на бородавке, и он ласково смеется.

— Что это, дядя? — говорит она.

— Борода, Любочка.

— Борода? — удивляется она. — А почему сбоку?

Любочка продолжает дергать Щербаня за жесткие волосы, и он радостно смеется.

Щербань — энтузиаст. Мечтает о морском флоте, о выигрыше в пятьдесят тысяч рублей. Выигрыш ему нужен для покупки небольшой парусно-моторной шхуны. Тогда с командой хороших ребят мечтает он на своей шхуне пройти вокруг света.

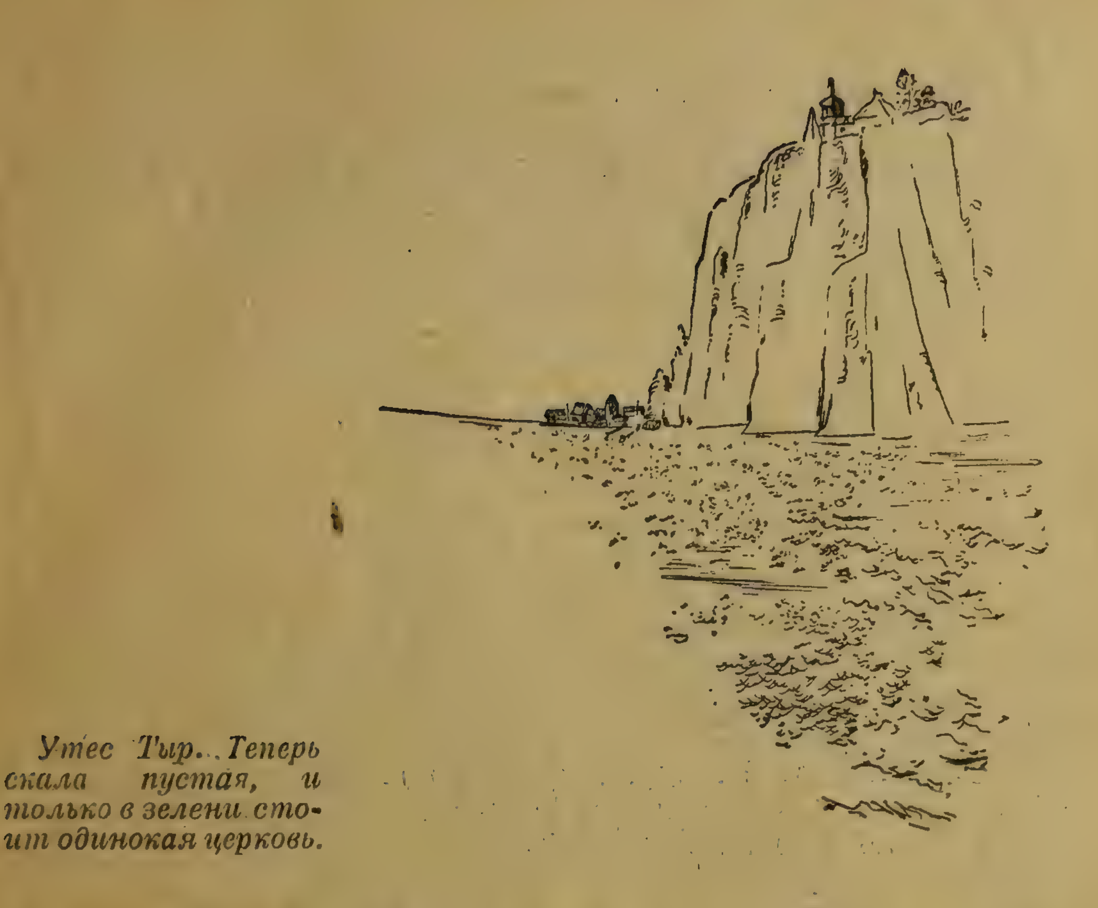
Щербань тщательно собирает вырезки из газет обо всех экспедициях. Поход «Красина», «Сибирякова», «Малыгина» и т. д. — все это приводит его в восторг. Он пересыпает разговор восторженной бранью, чешет волосатую грудь, грызет мундштук трубки, и голубые глаза его и белесые брови по-детски наивны, мечтательны. Щербань блаженствует. Он говорит о морях, о ветрах, о знаменитых полярных исследователях. Он с фанатизмом верит в профессора Визе, книга которого лежит у него на столе, и мечтает, мечтает без конца.

— Ты фантазер, Щербань! Мечтатель!

— А разве плохо мечтать?

— Смотря по тому — когда. Вот сегодня замечтайся машинист на лебедке — и был бы ты без ноги. Иногда, Щербань, нельзя мечтать.

— Смотря по тому, о чем, — говорит он. — Я вот, знаешь,



Утес Тыр... Теперь скала пустая, и только в зелени стоит одинокая церковь.

не могу работать, чтобы не мечтать. Может быть, я действительно мечтатель, — повторяет он. — Может быть.

— Послушай,— говорит Щербань, наклоняясь к моему уху, будто доверяя тайну. — Мечтаю я о том, чтобы решить, как увеличить косинус фи. Знаешь, что это? Это, брат, коэфициент полезного действия. Видишь ли, заднеколесные пароходы невыгодны тем, что при большой загрузке самого судна колесо должно, выходя из воды, бесцельно «поднимать» ее. Потому что тогда колесо сидит глубоко, и лопасти, погружаясь в воду, сначала ее отталкивают, двигая судно вперед, а затем, выходя из воды, тормозят движение парохода, испытывая большое сопротивление воды. Вот я и мечтаю сконструировать такой механизм, обязательно простой, чтобы произвольно изменять степень погружения колеса в воду... Понимаешь, друг, какое это значение для нас имеет! Ведь в СССР очень много заднеколесников. Ход у них хороший, все хорошо, только вот косинус фи подгулял... Вот и мечтаю я.

— Да. Дело это. Изобретешь, Щербань, «приспособление»— и, глядишь, мечты твои сбудутся: пятьдесят тысяч в кармане, шхуна — и валяй — плавай...

— Да чорт с ними, с тысячами, зато какая экономия будет!

Под'езжаем к селу Тыр. Высокий берег. Обрыв. Скала серого камня. Амур тут глубок, сажен сорок до дна будет. Скала считается священным местом. В большие праздничные дни сюда с'езжались гиляки, всходили на камень. На каменной площадке шаманили шаманы, завывали трубы и гремели барабаны. А в воду летели, сверкая в воздухе серебром и медью, монеты.

Теперь скала пуста, и только в зелени стоит одинокая, заброшенная церковь.

Черный дракон

Горизонт заслоняют горы. Они тянутся по обе стороны реки, но далеко от берегов. Горы в лесах, в травах. Травы кругом такие, что, кажется, все стада земли могут накормиться ими. Травы спускаются с гор и, наступая на воду, зеленым потоком впадают в Амур. Кругом ни души. Редкие прибрежные селения, промысла, как случайные всплески воды, нарушают тихую гладь природы.

Горы придвигаются ближе к реке. Это отроги Сихотэ-Алиня. Они все в зелени, в деревьях. Там, в глубине далеких хребтов, в тайге, бродят тигр и кабан, цветет жень-шень, таинственный «корень жизни». А рядом, у рубленого зимовья, на красной стороне двухцветной доски золотоволосый парень с берегов Днепра, улыбаясь, выводит неразборчивыми каракулями непривычное для украинца имя победителя в труде, раскосого гольда с берегов Амура.

Сихотэ-Алинь! Тигр, жень-шень... Вспомните! Упорно, шаг за шагом, за взмахом взмах стучит топор, блестит металл в лучах, проникших сквозь преграду листьев и ветвей, и человек — гиляк, гольд, русский — сквозь чащу, дикую, непроходимую, ведут упорно широкий путь...

Вдоль берега тянется черная, сочная земля. Начинается гроза. Льет дождь. Сильный дождь. Гроза исчезает так же, как и возникает: сразу, внезапно. Воздух становится прохладным, черная, мокрая земля, как жиром, сияет агатовым черноземом.

Вдали показывается селение. Тянутся луга, в траве холодной росой лежат дождевые капли. Ветер приносит в воду пыль с дороги, вьющейся вдоль берега.

Около реки растут елочки, совсем еще маленькие, светлые, зеленые елочки.

Хотите знать, где это? Хотите знать, где и куда плывет наш «Колумб»?

Возьмите географическую карту Советского союза. Видите Москву? Так. Придавите ее пальцем, все равно каким, например указательным. Теперь быстро проведите пальцем вдоль карты направо, на восток, до самой голубизны. Это Японское море и Тихий, или Великий, океан. Немного отступите назад. Теперь посмотрите, куда вы попали. Под пальцем голубая извивающаяся змейка.

Это Амур.

Там, далеко, на юге-западе, в горах, берет свое начало река Онон. Стекая с гор, растет Онон и, расширяясь, переходит в Шилку, которая, соединяясь с Аргунью, образует одну огромную реку, именуемую Амуром. Огромным черным драконом с сотнями ног-рек залег и притаился на земле, чуть шевелясь щетиною воды, Амур.

Амур проник сквозь горы и тайгу, прошел извилистым путем к востоку, и тут, ниже Зеи, отдающей ему все свои воды, в него впадает Уссури. Пройдя еще немного на восток, он поворачивает на север и голубой змеей бежит вверх по карте.

Откуда произошло название реки Амур, точно никто не знает. Знаменитый русский историк восемнадцатого века академик Миллер пишет:

«Река Амур, по-манчжурски Сахалин-Ула — Черная река, по-китайски Гелонг-Киян, или Хелун-Дзян, что значит река Черного Дракона, а по-тунгусски Шилкир, Шилкар, или Силкар называемая, имеет свои вершины отчасти внутри нынешних Российские Империи пределов, отчасти в близости оных в Мунгальском владении; и, протекая через разные страны, именуемые от китайцов Восточную Татарию, впала в океан под 53° северной широты или малым меньше».

В начале восемнадцатого века (1710 год) пекинскими католическими миссионерами была начерчена карта огромной страны «Татарии», которая захватывала среднюю и восточную часть Азии, в том числе и Манчжурию и наш Уссурийский край. И хотя татары никогда в этих местах не обитали и это название надо считать исторической ошибкой, пролив, отделяющий остров Сахалин от материка, до сих пор носит имя «Татарский», а горы, называемые теперь Сихотэ-Алинь, еще недавно назывались Татарскими.

«Если бы Амур мог нам только служить как путь, через который легко можно продовольствовать Камчатку, то и тогда обладание им имеет уже значение», писала императрица Екатерина вторая.

В те времена Россия не обладала портами в Приморьи. Грузы, шедшие на далекую Камчатку, богатую рыбой, зверем и золотом, шли морем — великим окружным путем вокруг Европы и Азии. Богатства, притаившиеся на Камчатке, заставили Россию искать путей на северо-восток.

Но Амур — не только путь к Камчатке. Неисчислимые богатства таят в себе его черные воды. Одних только рыб в нем насчитывается девяносто пород, а многие из них водятся только в Амуре и нигде больше: осетр амурский, амурская щука, калуга — рыба-гигант в одну тонну весом, длиной в четыре метра, выметывающая в среднем миллион пятьсот тысяч икринок! Амур превосходит рыбными богатствами все сибирские реки.

Воды Амура орошают огромные пространства земель. Золото, лес, пушнину хранят в себе прибрежные тайга и горы. Река Черного Дракона огромна. Четыре тысячи двести километров уместятся от тонкого хвоста до широчайшей пасти чудовища. Длина рек бассейна Амура, по которым возможно судоходство, — 8 536 километров. Сам бассейн Амура равен 2 054 510 квадратным километрам и занимает девятое место в ряду речных бассейнов мира. Ширина Амура доходит у устья до пятнадцати километров. Когда поднимается ветер, ходят по Амуру валы черной воды, страшные и неумолимые. Морем бушует Амур, и тихие полчища ила и песка, притаившись бесчисленными мелями, банками, лайдами, таят в себе, как и Охотское море, завороженные водой места кораблекрушений, гибели людей и грузов.

Напором воды Амур может двинуть колеса турбин, даря стране мощь двенадцати миллионов пятисот тысяч лошадиных сил!

Амур отделяет нас от Китая.

Глава вторая

ЛЮДИ ИЗ ЦАРСТВА ЛОЧЕ

Дела давно минувших дней...

О древнейшей истории Амурского края, а тем более низовьев Амура, кроме фантастических рассказов китайских историков, почти ничего неизвестно.

Русские синологи — Бичурин, Горский и другие — полагали, что за двадцать семь веков до первого знакомства русских с народами бассейна Амура последний был заселен племенами тунгусской народности. В 924 году киданьский император Тай-Цзу-Елюй-Гян завоевал амурские земли, которыми в то время владели манчжуры. Происхождение киданей неизвестно, однако большинство ученых относит их к народам тунгусского племени. Империя эта, иначе империя Ляо, просуществовала не более двух столетий. Ученые полагают даже, что она распространялась не только по берегам Амура, но и на берега Татарского пролива, носившие в старину название Земли Итан, что значит «Красных дикарей». В 1125 году североманчжурские племена Нюй Чжень под предводительством Агуды завоевали царство киданей. Несмотря на бесконечные войны и смены властей, происходившие вслед за тем в течение нескольких веков, влияние манчжур на народы, населявшие Амур, утвердилось.

В 1636 году Тай-Цзун писал китайскому императору «Милостью неба, мы, наследовавши престол после родителя нашего Тай-Цзу, распространили пределы нашего государства от северо-восточного моря до северо-западного. И племена, ездившие на собаках и оленях, и ловцы черных соболей и лисиц, и люди, не сеющие хлеба, но питающиеся мясом зверей и рыб, и аймаки Элютов (т. е. калмыков. — *В. В.*), и аймаки, обитающие на берегах Онона, и владения Юаньского дома, и Корея — все соединились под нашей великой державой, и все — князья, вельможи и народ — единодушно преподнесли нам титул и нашему правлению имя Чунде». С этого времени история Амурского края вступает в новый период. Впервые на Амуре появляются русские.

Люди из царства Лоче

«Люди царства Лоче все с впалыми глазами, высоким носом, зелеными зрачками и красными волосами. Оружие в их руках страшно. Они храбры, как тигры, и искусны в стрельбе. У них есть пушки, называемые арбузами, потому что формой их ядра напоминают арбуз; они из них метко попадают во вражеский лагерь, и последний растрескивается, хотя бы на расстоянии нескольких ли [1]. Кто им ни попадался, того они убивали. Манчжуры все испугались. Цзянь-цзюнь [2], донося о сем государю, молит о спасении...»

Страшные люди из царства Лоче были русские.

В 1644 году в устье Амура впервые пришел «новые землицы проведывать» посланный якутским воеводой Петром Головиным казак — письменный голова Василий Поярков.

«За Дучерами обитал народ натки, а за натками гиляки, коих селения по самым нижним реки Амура местам до моря продолжалось. Обоими помянутыми народами ехал Поярков по две недели, и они не были еще никому подвластны. Гиляки владели и островами, находящимися на море (надо полагать — Лантр и Удд. — В. В.), и питалися рыбным промыслом. Таким образом прошло другое лето, и Поярков зимовал при устье реки Амура между гиляками, которых он в тоже время привел в подданство Российской державы, взяв с них ясак [3] и аманатов [4], коих он привез с собой в Якутск, и с ясаком, состоящим в двенадцати сороках соболей и в шести шубах собольих».

«Тому не должно дивиться, — пишет историк, — что нашлися собольи шубы у гиляков. Понеже они тогда еще не были ни у кого под властию, чтоб кто потребовал у них ясаку соболями, то можно было им носить и собольи шубы».

Перезимовав, Василий Поярков вышел на стругах в Тугурское море (Охотское), добрался до устья реки Ульи; поставив острог, зазимовал там и вернулся в Якутск в 1646 г.

Поярков свою миссию «проведать» земли выполнил и донес, что для завоевания Амура, достаточно трехсот человек — сто пятьдесят разместить по острогам, а сто пятьдесят «употреблять для усмирения тех, кои паче чаяния непокорны явятся».

Вслед за Поярковым сюда явился Хабаров. Посланцы Хабарова разнесли такую славу о неисчерпаемых богатствах

---

[1] Ли — китайская мера длины, немногим больше полкилометра.

[2] Цзянь-цзюнь — губернатор провинции.

[3] Ясак — подать, налог.

[4] Аманаты — заложники.

края, что все население берегов Лены пришло в движение и бросилось в долину этой реки, ставшей с этого времени для приленских жителей обетованной землей. «К этому времени и следует отнести образование разбойничьих шаек, явившихся настоящим бичом божьим для инородцев Амура», писал Грум-Гржимайло. Так же как и Хабаров, «не проведывать», а покорять край, облагать ясаком и приводить в подданство «восточных варваров», пришли на Амур Степанов, Зиновьев и другие. Они сражались с племенами ачанов и гиляков, живших по Амуру, и с даурами, манчжурами и китайцами. Они строили остроги, собирали ясак и в конце концов, разбитые манчжурами, добрались до устья Амура (отряд Степанова), снова собрали с гиляков богатый ясак и ушли в Якутск.

Проникновение русских к устью Амура происходило значительно медленнее, чем по его верховьям.

Узнав о положении дел на Амуре и попытках русских казаков покорить край, руководивший государственными делами в Москве князь Василий Голицын послал в Пекин полномочного посла Федора Головина.

После долгих переговоров, страшась занятия китайцами Забайкалья, Головин уступил требованиям китайцев — Амур отошел к Китаю.

Однако восточная граница, за которой скрывался весь нижний Амур, оставалась неопределенной «ввиду незнания местности» договаривающимися сторонами.

Открытия

В 1746 году товарищ капитана Беринга Чириков посетил устье Амура. В 1753 году сибирский генерал-губернатор Мятлев представил проект отправки провианта на Камчатку по Амуру.

Проект утвердил сенат, но Пекин не разрешил произвести сплав.

В 1803 году в восточные воды был отправлен адмирал Крузенштерн, которому, между прочим, повелевалось описать берега Восточного океана, исследовать Сахалин и устье Амура. Русско-американская компания убедила Крузенштерна не приставать к берегам Манчжурии, и он подтвердил неправильные «открытия» Лаперуза и Браутона, утверждавших, что из Татарского пролива нет выхода в Охотское море «Встретив в Татарском проливе глубину в четыре сажени, он заключил, что не только устье Амура забросано песком

и недоступно для судов даже мелкой осадки, но что и Сахалин в северной своей части соединяется с материком Азии», то есть, что Сахалин — полуостров. Кроме того Крузенштерн категорически утверждал, что «на берегах Сахалина и Татарского пролива нет гавани». Поэтому на всех морских картах до 1857 года Сахалин показывался полуостровом, а берега Татарского залива (именно залива, а не пролива) прямыми, скалистыми, неприступными.

В 1842 году выехал из Петербурга в свое замечательное сибирское путешествие академик Миддендорф, который в конце своего пути открыл, что «гиляки, живущие по берегам Восточного океана и в низовьях Амура, никому не подвластны и в частности Китаю и что китайские пограничные знаки поставлены южнее гребня Станового хребта, чем владения России увеличиваются приблизительно на 50 тыс. квадратных верст». Открытие о гиляках тем более важно, что до тех пор было в ходу фантастическое сообщение Владыкина и Якоби (1756 год) и затем русской миссии в Пекине о том, что «народы, обитающие в Приамурском крае, находятся в более или менее цивилизованном состоянии (!), что они зависят от Китая и управляются особыми вассальными Китаю князьями, которые ездят в Пекин и женятся на китайских царевнах» (!).

Открытия Миддендорфа наделали много шума в Петербурге.

В 1846 году в низовья Амура под командой штурмана Гаврилова был послан бриг «Константин». Гаврилов поднялся до гилякского стойбища Чныррах и, вернувшись, донес, что «к северной части лимана Амура могут, но с большим трудом, подходить парусные суда, сидящие в воде не более шестнадцати футов; дальнейшее плавание по лиману для парусных судов невозможно; что же касается до входа в самую реку, то можно подняться и найти проход в нее, но только для пароходов, сидящих в воде не более пяти футов» (!). Смешно читать эти строки теперь, когда океанские суда, лесовозы и рефрижераторы легко идут вверх по Амуру на промысла до Маго!

«Боевая» история Амура имела свои последствия. Русские цари, особенно Николай I, панически боялись несуществующей фигуры китайско-манчжурского резидента. Это смешная боязнь пустого места, тени несуществующей фигуры продиктовала врученную Гаврилову «высочайше утвержденную инструкцию», в которой говорилось, что, по сведениям, при устьи Амура находится поселение русских беглецов

из-за Байкалья и большая китайская военная сила (!), а потому вы должны принять все меры предосторожности, дабы не иметь с китайцами неприязненных столкновений и дабы китайцы не могли узнать, что ваше судно русское. С русскими беглецами войдите тайно в сношение и обещайте им амнистию. В случае, если вы при входе в лиман встретите мели, то не должны подвергать судно опасности, ибо положительно известно, что устье реки недоступно».

«Чтобы все инструменты для наблюдения вы хранили у себя и чтобы все наблюдения для определения места судна и берега вы делали сами, а равно и журнал писали собственноручно, без участия в этом ваших помощников, которые, а равно как и команда, ничего об этом не должны знать и никому не говорить, что вы были около реки Амур».

На докладе графа Нессельроде царю об экспедиции Гаврилова, сообщавшем, «что Сахалин полуостров, почему река Амур не имеет для России никакого значения», Николай I написал: «Весьма сожалею. Вопрос об Амуре, как о реке бесполезной, оставить». Затем Нессельроде сообщил барону Врангелю, что по выдаче премий за экспедицию «дело о реке Амур навсегда считать поконченным и всю переписку поэтому хранить в тайне».

Однако капитан Невельской подверг сообщение Крузенштерна, Лаперуза и других исследователей сомнению.

«Неужели, — писал он, — такая огромная река, какова Амур, не могла проложить для себя выхода в море и теряется в песках, как некоторым образом выходит из упомянутых описей?..»

Вслед за этим назначенный сибирским генерал-губернатором Муравьев, беседуя с царем, вновь поставил вопрос об Амуре.

«Для чего нам эта река, — сказал Николай I, — когда ныне уже положительно доказано, что входить в ее устье могут только одни лодки?» В конце концов Муравьев получил разрешение на снаряжение экспедиции. Невельскому было поручено доставить на транспорте «Байкал» из Кронштадта груз на Камчатку, а затем итти к юго-восточному берегу Охотского моря, составить опись этих берегов до лимана Амура.

Но Невельской вышел из Кронштадта, не дождавшись инструкций, и, также не дождавшись инструкций, вышел 31 мая 1849 года из Петропавловска-на-Камчатке.

Начав свои исследования от мыса Головачева на Сахалине, Невельской открыл на материковой стороне Татарского

пролива удобный для стоянки залив Искай («Залив счастья»), вошел в Амурский лиман, открыл и исследовал пролив, отделяющий Сахалин от материка, и затем вернулся в Аян, где донес генерал-губернатору Муравьеву, что: «1) Сахалин не полуостров, а остров, 2) что вход в Амурский лиман из Татарского пролива через открытый им пролив доступен для морских судов всех рангов, а с севера, из Охотского моря, для судов с осадкой в двадцать три фута; 3) что в самое устье Амура из Татарского пролива могут входить суда с осадкой в двенадцать футов и 4) что гиляки, живущие при устьи Амура, независимы от Китая, как на то указывал Миддендорф».

За самовольное открытие и плавание Петербург первоначально хотел разжаловать Невельского, но после длительных дискуссий в специальной комиссии решено было «основанный Невельским Николаевский пост оставить в виде лавки российско-американской компании, никаких дальнейших распространений в этой стране не предпринимать и отнюдь никаких мест не занимать, однако, всем иностранцам сообщать, что без согласия российского и китайского правительств никакие произвольные распоряжения в этих местах не будут допущены».

Невельской об'явил:

«От имени российского правительства в сем об'является всем иностранным судам, плавающим в Татарском заливе, что так как побережье этого залива и весь Приамурский край до корейской границы с островом Сахалином составляет российские владения, то никакие здесь самовольные распоряжения, а равно обиды обитающим инородцам не могут быть допускаемы. Для этого ныне поставлены российские военные посты в заливе Искай и на реке Амур».

И все-таки русское правительство, обуреваемое боязнью мифических для этих мест китайских войск, не придавало значения открытиям Невельского. Николаевский пост оставался лавкой — мелкой, ничтожной. Царь и его министры (граф Нессельроде, граф Чернышев и другие) бесцельно тратили огромные средства на укрепление другого, более северного, находящегося на берегу Охотского моря порта Аян.

Аян загубил бесконечное множество жизней, и деньги, затраченные на него, оказались выброшенными на ветер. Аян вплоть до наших дней никакого ни экономического, ни политического значения не имел.

Край постепенно заполнялся войсками, чему способство-

вала восточная война России с Англией и Францией. Удачные дипломатические маневры Муравьева в Китае завершились Айгунским 1858 года договором, который был вскоре дополнен Тянцзинским.

Левый берег Амура стал окончательно русским, движение по реке свободным.

Таковы некоторые моменты истории края, таковы «страшные люди из царства Лоче» — первые русские империалисты на Востоке.

Глава третья

ТАМ, ГДЕ КОНЧАЕТСЯ АЗИЯ

По следам А. П. Чехова

«5 июля 1890 года я прибыл на пароходе в город Николаевск, один из самых отдаленных восточных пунктов нашего отечества. Амур здесь очень широк, до моря осталось только двадцать семь верст; место величественное и красивое, но воспоминания о прошлом этого края, рассказы спутников о лютой зиме и о не менее лютых местных нравах, близость каторги и самый вид этого заброшенного, вымирающего города совершенно отнимает охоту любоваться пейзажем.

Николаевск был основан не так давно, в 1850 году, известным Геннадием Невельским, и это едва ли не единственное светлое место в истории города. В пятидесятые и шестидесятые годы, когда по Амуру, не щадя солдат, арестантов и переселенцев, насаждали культуру, в Николаевске имели свое пребывание чиновники, управлявшие краем, наезжало сюда много всяких русских и иностранных авантюристов, селились поселенцы, прельщаемые необычайным изобилием рыбы и зверя, и, повидимому, город не был чужд человеческих интересов, так как был даже случай, что один заезжий ученый нашел нужным и возможным прочесть здесь в клубе публичную лекцию. Теперь же почти половина домов покинута своими хозяевами, полуразрушена, и темные окна, без рам, глядят на вас, как глазные впадины черепа. Обыватели ведут сонную, пьяную жизнь и вообще живут впроголодь, чем бог послал. Пробавляются поставками рыбы на Сахалин, золотым хищничеством, эксплоатацией инородцев, продажей пантов, то есть оленьих рогов, из которых китайцы приготовляют возбудительные пилюли». Так начинает свою книгу «Сахалин» А. П. Чехов.

С тех пор прошло сорок четыре года. Срок меньший, чем тот, который прошел со дня основания города до посещения его Чеховым. И все же от Николаевска — города, о котором писал Чехов, — за эти сорок четыре года осталось одно воспоминание. Город исчез с лица земли и родился вновь. Спа-



Николаевск на Амуре. В бухте устроены искусственные островки. Это «кошка» — место причала судов.

ленный и взорванный Тряпицыным в 1920 году, Николаевск заново родился совсем недавно.

Амур, упираясь в косяки гор, как из ворот, медленно выходит на простор и, разливаясь девятиверстной шириной, расходится озером, теряясь в дали нескончаемого моря.

Правый берег его высок, горы округлы, все в зелени. Зеленый поток ползет в Амур и тонет в воде. На левом берегу, где горы чуть отступили от берега, город Николаевск. Домики в один-два этажа. Трубы лесопилки, электростанции. В городе тоже зелень, но это не деревья, а трава. Город небольшой, но солидный. И от дыма труб и пароходов, и от прямолинейного порядка улиц и домов веет деловитостью и серьезностью. В бухте устроены искусственные островки. Это «кошка» — место причала судов. К «кошке» ведут огромные дороги — мосты на сваях. По ним на лошадях и автомобилях подвозят к пароходам и баржам грузы. Тихо стоят мо-

торки, катера, шампуньки, халки, огромные океанские суда. Они пришли сюда из Одессы, Ленинграда, с Камчатки.

В городе чисто. Починенные деревянные тротуары. Гостиница, где мы устраиваемся,— чистый одноэтажный дом.

В Николаевске нет ни одного лишнего жителя. Все работают и занимаются делом. Почти все продукты здесь привозные. Привоз определяется количеством трудящихся и их семей.

Тот, кто не работает, тот бежит из Николаевска. Он просто «не помещается» в городе.

В Николаевске занятная жизнь и занятные обычаи. Задолго перед тем, как приходит пароход, известно, какой груз он везет. Часто еще груз не сгружен, а он уже распределен между жителями города.

Когда приходит пароход, взволнованные жители бегут в горт, ЦРК и распределители.

Нам довелось видеть замечательную картину. В горт пришла партия фетровых шляп, и моментально в магазин набилось множество гиляков и китайцев-колхозников. Из детского сада учительница привела колонну галдящих маленьких ребят. Дети шли и, глядя по сторонам, с удовольствием и упоением пели: «Смело мы в бой пойдем...» Им было по пять-семь лет. Шляпы брались нарасхват. Гиляки и китайцы брали советские «барсалино», а детям покупались матросские шапочки. Гиляки выбирали шляпы с яркими лентами и уходили довольные. Из-под фетровых полей могучими хвостами висели их черные косы, туго заплетенные руками жен.

В Николаевске огромная школа-комбинат, два кино, небольшой городской сад, неиспользуемый парк около базара, два рынка, несколько клубов, великолепная спортивная площадка «Динамо», учебное заведение, созданное революцией,— техникум народов севера,— и ни одной церкви.

Николаевск — окружной центр. Тут кончается путь пароходов, идущих «сверху» — из Хабаровска, Благовещенска. Отсюда тянутся невидимые глазу нити руководства на побережье Охотского моря, Сахалинского залива, в тайгу, на рыбные промысла, прииски и фактории. Город Николаевск экономически исключительно важный пункт. Здесь начинается путь для товаров, грузов, идущих на Камчатку, Северный Сахалин, Охотское побережье, в далекий Чумикан, Аян, Ногаево, на Шантарские острова.

Город Николаевск стоит на конце Амурского речного пути. Тут — начало морского пути на север и на восток.

Николаевская трагедия

В 1920 году город Николаевск занимали японские и белые войска. В низовья Амура был послан для организации повстанческо-партизанской борьбы против белых и интервентов армеец народной армии Дальневосточной республики анархист Яков Ильич Тряпицын. Молодой, двадцатишестилетний партизанский вождь Тряпицын быстро организовал отряд, прошел тайгой к Николаевску и, зайдя с восточной стороны, взял с боя крепость Чныррах, именуемую теперь попросту Чинары. С японцами было заключено перемирие.

В ночь на 12 марта, усыпив бдительность партизан, уверив в любви самого Тряпицына, японцы неожиданно и коварно выступили, открыв ураганный огонь в упор по зданию штаба армии. Тряпицын был ранен. Начальник штаба коммунист Наумов убит. Секретарь штаба Покровский и его помощник, видя безысходность положения, застрелились. Японцы обстреливали штаб из орудий, пулеметов и винтовок. Штаб горел.

У японцев были все шансы разбить отряд Тряпицына, который разбрелся по частным квартирам. Однако Тряпицыну и его помощнику удалось бежать.

Выбитые из города партизаны нашли своих вождей и оказали упорное сопротивление. Они сорганизовались, и после жестоких боев 12 и 13 марта японцы были побеждены.

Инициатор и руководитель выступления майор Исикава был убит во время атаки. Все японцы из его отряда погибли в отчаянной схватке с партизанами.

14 марта отряд Тряпицына уничтожил последнюю группу японцев, кроме засевших в консульстве и в казармах. Консульство не сдавалось. Попытки Тряпицына выслать парламентеров не увенчались успехом. Японцы открывали по ним ружейный и пулеметный огонь. Тряпицын отдал распоряжение захватить консульство во что бы то ни стало в целости, сохранив жизнь консула.

«15 марта ровно в двенадцать часов дня три жилых дома одновременно загорелись,— рассказывает очевидец,— густой черный дым высоко поднялся к небу. Огонь быстро охватил сухие деревянные домики.

Я ожидал, что сейчас начнется последняя атака, — но нет, проходит томительных полчаса, на улице никто не появляется.

Раздалась команда, и цепи партизан бросились к пожа-

рицу, стремясь проникнуть внутрь об'ятых пламенем домов.

Но было уже поздно.

Не желая сдаваться, консул и его приближенные умерли, сделав себе харакири. Тела их сжег огонь, зажженный ими же самими.

Вторая группа японцев, засевшая в казармах, получила по телеграфу распоряжение от генерала Ямады из Хабаровска о немедленном прекращении военных действий и заключении перемирия. 15 марта японцы выбросили белый флаг и сдали оружие. Всех пленных японцев было сто тридцать шесть человек. Тряпицын потерял около ста пятидесяти человек убитыми и двести пятьдесят — триста ранеными. По словам участников движения, всего было убито восемьсот человек японских солдат и офицеров и двести резидентов с их семьями. По официальным японским сведениям, из всех японцев, находившихся в Николаевске, спаслись только двое.

Якобы в ответ на николаевские события по всем городам Дальнего Востока 4 и 5 апреля состоялись японские выступления. Существует точка зрения, что выступление японцев в Николаевске было совершено не по собственному желанию майора Исикавы, а по провокационному приказу японского командования, для того чтобы иметь возможность затем мотивировать подготовлявшиеся выступления 4 и 5 апреля.

Николаевский инцидент — это тот козырь, которым Япония играла на всех конференциях, вплоть до Вашингтонской, и при этом играла довольно успешно, оккупируя северную половину Сахалина как бы в залог за «нарушение».

Только в 1925 году японцы освободили Северный Сахалин. Но они не забыли того удара, который был нанесен войскам страны «восходящего солнца», коварно выступившим в надежде захватить советскую территорию.

Маршруты

Город небольшой, все под руками: близко. Сразу взялись за дело. Работы много: сведения различные получить, выяснить, какое количество хозяйств живет в наших районах, окончательно разработать маршруты, договориться о местных работниках, проинструктировать их, выдать им снаряжение, перепаковаться, получить пропуска в пригранигчную зону, оружие и т. д



Карта № 1. Пунктиром указан предполагаемый маршрут.

Из газеты «Красный маяк» прислали к нам репортера. Долго об'яснял, что надо писать.

Наконец появилась статья «Народная (!) перепись». В статье все перепутано. Но в общем намерения у корреспондента и редакции благие.

В Москве мы получили сведения, что в нашем районе всего лишь два колхоза и триста туземных хозяйств. Эти сведения нам подтвердили и в Хабаровске. Когда же мы приехали в Николаевск, то выяснили, что колхозов в Нижне-Амурском округе не два, а тридцать и хозяйств не триста, а тысяча. Хороши были бы мы, если взяли бы два колхозных бланка! Пришлось бы тогда открыть в Николаевске школу рисования. Сначала нас несколько озадачило, что туземцы организованы в коллективные хозяйства. Мы предполагали, что северные хозяйства не коллективизированы. Мы думали, что родовые взаимоотношения определяют туземный быт и хозяйство.

Жизнь опережает иногда помыслы, идущие из кабинетов ученых и администраторов!

На специальном совещании с представителями всех местных организаций, с которыми мы установили связь, был намечен план нашей работы и маршруты.

Мне достался маршрут от острова Лангр по побережью Охотского моря до мыса Литке и северо-западное побережье Сахалина.

В последней части маршрута — по сахалинскому берегу — к нам присоединится для скорейшего окончания работы товарищ Шум.

Захаров

Как предполагалось в Москве, каждый из нас получил помощника-туземца. Их выделил нам окружком комсомола и николаевский техникум народов севера.

Я получил в помощники тунгуса Захарова.

На следующий день вечером в дверь постучали:

— Можно?

В дверях показался небольшой человек с круглой головой. Круглое лицо, широкие скулы, коротко остриженные черные волосы, слегка прищуренные, внимательные глаза смотрели на меня.

— Я — Захаров,— сказал он коротко.— Теперь мы поедем. Так?

Действительно, коротко и ясно. Мы разглядываем друг друга, не скрывая обоюдного любопытства.

— Правильно говоришь, Захаров, именно теперь мы поедем. Очень скоро поедем, так скоро, что инструктировать тебя придется в пути.

Захаров — тунгус. Давно его отцов и дедов крестили русские, пришлые священники. Широколицые тунгусы получали русские имена — Николаев, Захаров, Иванов — и с ними уходили назад в тайгу, в тундру, к оленям, очагам и охоте. Захаров небольшого роста, плотный, с чуть кривыми ногами. На широком лице его вместо бровей две маленькие запятые. Большой лоб в морщинах придавал его лицу умное выражение.

Знакомство состоялось. Я расспрашиваю Захарова, где он жил, что знает. Ведь сколько дней нам нужно будет провести вместе!

Восемь лет тому назад пятнадцатилетний пастух с берегов Селемджи — тунгус Захаров — уехал в далекий, незнакомый

город русских — Хабаровск. Там, на с'езде туземной молодежи, он был делегатом от своего селения. Он остался в городе.

Захаров учился. Восемь лет он учился грамоте, наукам, жизни. Захаров побывал в Ленинграде, учился в Институте народов севера, вступил в комсомол. Он ездил в трамвае, автомобиле и взбирался на Исаакиевский собор. Он научился писать, читать. Он стал грамотным. Он знает закон Бойля и Мариотта и понимает смысл теории ренты. Политическая экономия — любимая наука Захарова.

— Вот окончу техникум,— мечтает он,— и поступлю на специальные экономические куршы.

— А потом?

— Потом поеду домой, на Селемджу.

— Значит, тебе город не нравится?

— Нет. В городе хорошо. Только у нас так: куда наши тунгусы ни уезжают, а все домой обязательно возвращаются. Тянет к себе родина. Я вот и решил: обучусь — поеду на Селемджу работать. Только еще курсы специальные кончить надо...

— А теперь, Захаров, поговорим о делах. Наш путь — от Николаевска вниз по Амуру до самого его выхода в пролив, где находится остров Лангр.

До Лангра хорошему катеру хода часов десять-двенадцать. Катер должен спуститься вниз по Амуру к самому его устью и выйти в лиман Амура, держась левого, северного берега. Татарский пролив вытянулся длинной полосой воды между материком и островом Сахалином, сузившись к середине, точно перетянутый поясом. Таким образом он делится на две части — северную и южную. Северная часть Татарского пролива — от мыса Лазарева (на материке) и мыса Погоби (на Сахалине)— носит еще название лиман Амура и граничит на севере параллелью, проходящей через остров Лангр и мыс Головачева на Сахалине. Наш путь дальше к северу, по берегу материка, по той части Охотского моря, которая имеет свое название — Сахалинский залив. Сахалинский залив — это часть Охотского моря, заключенная между норд-вестовым берегом острова Сахалина от мыса Марии и мыса Головачева и противоположным берегом материка от мыса Александра и острова Райнеке и до острова Лангр — в общем же от лимана Амура к северу до параллели широты 54° 20'. От Лангра мы пойдем на северо-запад по Сахалинскому заливу Охотского моря, мимо острова Удд и Петровской Косы, в залив Счастья. На берегу залива, возле реки Иски, находится село Власьево.

Мы начнем с дальнего пункта нашего маршрута, с тем чтобы постепенно приближаться к Николаевску. Так вернее: не застрянем по окончании навигации. Из Власьева, единственного нашего русского селения, мы проедем на Петровскую Косу, в стойбище Иски, потом на остров Удд, потом на остров Лангр. Тогда-то, если будет попутная оказия, мы постараемся добраться до мыса Литке... Потом сахалинский берег...

Мы склонили головы над картой...

Доставить груз во что бы то ни стало!

День выезда. Дождь. Серо. Сегодня мы едем через Лангр на Власьево.

От интегралсоюза на зверобойный промысел власьевского колхоза «Волна» идет катер «Сталинец». Катер ведет на буксире кунгас[1] с пятнадцатью тоннами груза для промыслов лангрской группы во Власьевскую факторию.

Мы решили ехать не на катере, а на кунгасе, предполагая, что там просторней, есть место, где можно спать и в хорошую погоду даже поваляться на солнышке. Но нам не повезло. Погода плохая. Перебираться на катер поздно. Наш кунгас — это огромная плоскодонная «посудина» метров пятнадцать длиною и метра четыре шириною. Руль у него — штурвальное бревно, воткнутое в рулевую станину. На корме для рулевого небольшая палубка. Такая же, только чуть поменьше, палуба на носу для якоря.

Груз кунгаса: мешки с мукой, кули с сахаром, крупой, ящики с папиросами, порохом, печеньем, дробью, оружейным маслом. На носу тёс, отправляемый на остров Лангр для строительства. Кунгас грузят едущие на нем секретарь Власьевского колхоза «Волна», тощий человек с подслеповатым глазом и внушительными усами — Рогов, и ведущий кунгас уполномоченный интегралсоюза по зверобойному промыслу на побережьи Коль-Петровская Коса — Шутенко, парень лет двадцати восьми. Он пересыпает разговор бранью, хвалится, но ничего не делает.

Воробьев, парень лет двадцати, с бычьей шеей и распутными глазами, секретарь Власьевского сельсовета, помогает Рогову грузить кунгас.

Часов в пять вдруг из тумана приходит катер, и мы снимаемся с якоря. Закрываем груз брезентом, достаем два шеста и на ходу сооружаем палатку.

---

[1] Кунгас — небольшое рыболовное судно.



В тихой бухте, защищенной ладонями крутых берегов, раскинулся промысел Тнейвах.

Катер «Сталинец» идет впереди. Он похож на подводную лодку. Он весь закрыт. Его металлический корпус окрашен краской стального цвета. Палуба чиста, над ней возвышается серая штурвальная рубка. На катере нет мачт. Над рубкой торчит небольшой флагшток. Машина катера сильна, семьдесят пять лошадиных сил. Нормальный ход «Сталинца» двадцать пять — тридцать километров в час. С кунгасом он идет двадцать — двадцать пять километров. Это морской катер. У него маленький кубрик — каюта для команды в четыре человека. Пассажиров девать некуда.

Дождь. Сильный ветер. Темные тучи обгоняют друг друга, заволакивают небо. На реке волны. Приходится устраивать вынужденную ночевку на промысле Тнейвах.

Из дождевой мглы вырисовывается огромное здание промысла. Мы подходим к нему, смолкает мотор, и в вечерней тишине слышно всхлипывание каната в воде и воды у бортов.

Пришвартовываемся.

Утром, часов в пять, вскакиваем. Надо ехать. Одеваюсь. Чай пить некогда. Скорее — авось «проскочим до шторма».

Выходим на пристань.

Туман. Сильный ветер. Дождь. Берегов не видно.

Шутенко ответственен за груз. Ему поручено доставить груз в целости и сохранности к месту назначения. Вчера у руля стоял Шутенко. Сегодня стою я. Самое главное — не «дергать» кунгаса и «отыгрываться». Все время следует итти в корму буксиру, а попав в шторм, стараться проходить волны поперек. Когда направляешь кунгас налево, то он идет в этом направлении дольше, нежели заведен руль. Поэтому надо выравнивать руль, пока еще кунгас не кончил поворота. Понять, когда надо выравнять руль, самое трудное в управлении. От этого зависит равномерность и гладкость хода судна.

В Тнейвахе на корму погрузили четыре бочки бензина, по пятнадцати пудов каждая. Их положили две по сторонам вдоль бортов (между ними небольшое пространство для рулевого) и две бочки перпендикулярно к бортам, так что на корме получились две буквы «Г», составленные из бочек и повернутые друг к другу. Во время шторма две «параллельные» бочки могли раздавить рулевого, а две другие должны были неминуемо свалиться на пассажиров.

Ранним утром мы вышли из Тнейваха на остров Лангр, предполагая быть на месте в тот же день. Лишь только отошли, встретили волны и ветер.

Кунгас течет. Рогов, жалуясь на сердце, черпает ведром воду из кунгаса и лениво льет ее с окурками и спичками за борт. Вода в кунгасе не убывает. Захаров и гиляк-пассажир Кумтак сменяют Рогова. Наконец вдали показывается промысел Озерпах. Катер поворачивает туда. Озерпах прекрасный промысел. Чистый, просторный. Народу мало. Ход кеты еще не начался. Стоят столы, ящики для икры, висят тощие шланги. Во время путины за столами стоят люди, сверкают ножи, блестит свинцово-перламутровое ожерелье чешуи, красное мясо и красная кровь. Пахнет рыбой, морской водой.

Озерпах — лучший промысел на Амуре, с которым конкурирует, пожалуй, один только Пуир.

В доме для приезжающих тепло и уютно. Разжигаем печурку, варим макароны с мясными консервами.

Опять вынужденная остановка. Мы зашли на Озерпах переждать погоду. В лимане шторм. Бурые волны ходят по лиману, и ветер свистит над водой. Ждем. Приходит вечер, ночь. Ночью стук морских сапогов капитана, мешает спать. Капитан ходит «смотреть» погоду. Сапоги стучат, и на дощатый пол шумно стекают потоки капель с его промокшего дождевика.

Груз надо доставить в течение трех дней. Фактория сидит без продуктов. Надвигается ход рыбы, дни, когда рыбаки — и русские, и гиляки — круглые сутки на работе в воде, в дождь, в шторм. Рыба идет точно 27—28 августа. Рыбу сопровождает морской зверь. Не доставить продукты в срок, — значит сорвать путину.

Утро. Шторм не утихает. Несколько раз мы выходим на пристань. Тут, за ветром, у самого промысла тихо. Но в лимане ходят серые валы, и ветер тормошит их белые гребни.

Надо ехать. А ехать нельзя. Старшина катера долго колеблется. Наконец он машет рукой. «Будь, что будет». Решено: мы едем.

— Нельзя выходить, пока не откачаем воду и не закрепим бочки,— говорю я.

— Ладно! — смеется Шутенко.— Успеем на ходу все сделать. Отдавай конец!

Стучит мотор, и катер срывается с места. Мы швыряем наши мешки на кунгас и на ходу прыгаем в него.

Шторм

Кунгас пока идет по гладкой воде бухты. Все обстоит благополучно. Но впереди черная линия фарватера, черный поток, испещренный бороздами волн и белых гребней. Кунгас начинает качать. Налетает порыв ветра, наша палатка рушится.

Мы вылезаем из-под брезента. Волны раскачивают кунгас сильней и сильней. Огромный вал прокатывается с носа на корму и едва не сносит Шутенко, и уже кунгас трясет ударами волн. Снова идет вал, снова проносится он могучим потоком через нашу жалкую посудину, обдает Шутенко и уходит за корму.

Все это происходит мгновенно, неожиданно и внезапно. Мокрый, бледный Шутенко бросает руль и спасается под брезентом. Оттуда торчат его ноги. С сапог его медленно стекает вода.

Он высовывает из-под брезента голову и кричит:

— Будь ты проклят! Окаянный! Пропадем мы, ребята!

Волна пробирается сквозь борта, льется сверху, наполняет кунгас и своей огромной тяжестью еще больше раскачивает никем не управляемый кунгас. Начинают шевелиться мешки и бочки...

Я становлюсь у руля, удерживаю его с трудом. Насилу выравниваю кунгас. Впереди мечется в волнах катер, малень-

кий и серый. Все время стоявший на палубе матрос уходит в каюту, и палуба катера пустеет. Сквозь стекла штурвальной рубки виден капитан.

Нельзя терять ни мгновения. Что есть мочи, стараясь перекричать шторм, кричу:

— Рогов, отливать воду! Отливать, пока не будет отлита вся!

— Шутенко, крепить брезент!

— Захаров и Кумтак, крепить бочки!

Руль выпустить ни на минуту нельзя. Волны растут, ветер опрокидывает меня назад, в воду, волны бьют в кунгас, он трясется, скрипит, и тучи брызг летят в лицо.

Только бы не разойтись в направлении с катером... Только бы не боковая волна...

— Шутенко, на бочки! Довольно возиться с брезентом!

Бледный Рогов черпает воду ведрами, ведрами...

Кумтак ничего не может сделать. Он растерянно суетится у бочек и лезет под руль. Шутенко крепит бочки, но канат намок, и он не может опутать им бочку. Каждую минуту ему может раздавить руки, каждую минуту меня могут раздавить и сбросить в воду качающиеся бочки.

— Ломай шесты!

Захаров и Шутенко ломают тонкие гладкие жерди. Куски дерева подкладывают под бочки. Тщетная предосторожность! Их смоет любая волна и двинет бочки на нас...

Ветер, ураганный ветер. Серый «Сталинец» сливается с водой, и пеньковый трос бледной нитью указывает глазу дорогу к исчезающему в волнах катеру.

Нас вздымает волна. Руки судорожно цепляются за бочки. Позеленевший Рогов без конца черпает воду...

— Ничего, Рогов! Не бойтесь. Главное — бочки и вода, а когда надо будет прыгать за борт, я вам скажу!

Как это ни странно, но мое сомнительное обещание на него действует успокаивающе, и он с еще большим остервенением продолжает свою работу.

Чудо! Рогов откачал всю воду. Это удивительно: Вчера, пытаясь откачать всю воду, я не смог этого сделать. Иногда страх помогает человеку.

— Пять! — кричит Шутенко.— Десять, пятнадцать...

— Что ты считаешь?

— Рубли.

— Какие рубли?

— А вон..

Мимо проносятся доски. Их смывает с носа нашей посудины. Каждая доска стоит пять рублей.

Вода прибывает. Волны становятся злее. Катер юлит, вьется, поворачивает. Разве можно в такую погоду и с таким кунгасом, как наш, менять курс? Волны бьют в бок, кунгас захлестывает вода. Вода забивается в сапоги, лезет в глаза, в лицо.

И снова вода, вода, вода... Грязные, коричневые волны бьют кунгас. Они уносят доски и вот-вот унесут нас.

Татарский пролив недалеко. Мы у 75-го бакана. От него до 74-го и 73-го баканов самое тяжелое место всего в две мили. А как это много — две мили в такой шторм! Снова вода набрасывается на нас. Снова бледнеет Рогов и лихорадочно работает ведром. Кто-то выходит на палубу катера. На нас смотрят. Человек уходит, и мы снова одни, и снова ветер и снова вода и ветер в лицо.

74-й бакан. Еще одна миля. Одна миля! Выдержим ли? Я не в силах сдерживать руль. Волны с ревом обрушиваются на кунгас, прокатываются с носа на корму, сшибают с ног, тащут за борт. Тяжелое бревно руля вздрагивает от их ударов и вырывается из рук, взбунтовавшееся, сильное. Зову Шутенко. Мы держим руль вдвоем. Волны лезут на кунгас и окатывают нас холодом. Вода бьет в грудь, в глаза, в рот.

Скорее бы 73-й бакан! Скорее! От него мы свернем на север и пойдем Татарским проливом. Хотя место там будет совсем открытое и, следовательно, волны будут сильнее, но они пойдут прямо, навстречу, а не с бортов. Итти будет легче.

— А ведь «Владивосток» отстаивается! — кричит Рогов.

Выйдя из Озерпаха, мы встретили пароход «Владивосток», который должен был итти в Охотск. «Владивосток» вышел из Николаевска и, пройдя Озерпах, встал на два якоря пережидать шторм.

А мы идем...

Наконец желанный 73-й бакан. Мы смотрим на эту бочку, розовую, с черными цифрами, мало сказать с лаской, — с нежностью и любовью.

И вдруг... На катере, на палубе появляются люди. Они машут нам.

— Они хотят свернуть! Они боятся итти на Лангр!

Мы кричим хором каждый свое людям на катере. Мы требуем итти дальше. Мы требуем итти на Лангр. Мы машем руками, мы кричим, ругаемся, но нас не слышат. Ветер в лицо.

Катер вьется, нас снова захлестывает волна. Снова катер выделывает какие-то петли. Он поворачивает нас боком к волне. Волны идут через левый борт кунгаса, и снова в кунгасе вода.

Раздается легкий толчок. Кажется, что кунгас на мгновение замер.

Но вот уже волны снова набрасываются на нас. Они кидаются через борт внутрь посудины, на мешки, бьют нас холодом и своей тяжестью. Кунгас раскачивается сильнее и не слушается руля.

— Буксир лопнул!

Катер уходил вперед. Наша неуклюжая, жалкая посудина беспомощно болталась на волнах.

Спасены

Мы смотрим на катер. Еще десяток-другой минут — и конец.

Пытаюсь рулить, но что можно сделать рулем, когда у нас нет ни мотора, ни паруса? Мы смотрим на катер. Команда точно оцепенела, замерла. Рогов с ведром, Захаров у ящика сжимает канат, и мы с Шутенко бесцельно цепляемся за руль. Вот идет вал. За ним другой. Третий. Третий вздымается мутной грязью и увенчан пеной...

Неужели этот?..

Кунгас вздымает кверху. Он взбирается на волну и, остановившись там, наверху, на мгновение вдруг проваливается вниз, в ревущую черную бездну. Нас окружают горы волн. Мы упали с их вершины вниз, к их основаниям. Кунгас трещит. Неужели не поднимется? Неужели забьет волной? Кунгас медленно начинает вползать на волну. Бочки перегружают его корму.

Вот идет четвертый...

— К чорту! Он не будет последним!

— Бочки в воду! Разом!

Как догадлив становится человек, когда его хватают за горло! В мгновение под бочки заложены палки — рычаги.

— В воду!

Скрипнули борта, и с грохотом прыгнули железные чудовища за корму. Облегченный кунгас легче переносит удары. Они обрушиваются на него, и он выскакивает из волн, как утка, отряхивая воду.

В крайнем случае полетят за борт остальные бочки. А пока возможно, надо терпеть.

Ура! Катер идет к нам. Вот радость! Катер осторожно подходит. Нас хотят взять на борт. На борт? А груз?

— Кидай конец! — кричим мы. — Кидай конец! Мы пойдем на буксире!

Захаров лезет на нос. Волны едва не сбрасывают его в воду, но он ухитряется держаться. Ему бросают конец. Он накрепко крепит его.

— Иди! — кричит Шутенко старшине катера. — Иди прямо! Да не верти задом! Это тебе не по Тверской гулять!...

Мы идем назад на Пуир.

Мы мокры. Кто сказал, что есть непромокаемые плащи? Все плащи промокают!

Наконец показывается Пуирский промысел. Вот и бухта. Утихли волны. Нет ветра. Вода спокойна. Иду на нос отдавать якорь.

Шагаю по брезенту, которым закрыты мешки. Один из мешков вдруг шевелится. Оказывается, что там человек. Недовольный, он вылезает. Студент техникума. Едет на Лангр. Это его доски сносило с нашего кунгаса. Мы все хохочем, как пьяные. Действительно, кем надо быть, чтобы просидеть под брезентом такой шторм!

Еще десять-двадцать минут, — и теплая комната, постель и сон.

Теперь наплевать на шторм! Скорее, скорее на берег!

Мы разжигаем железную печку. Стенки ее накаляются. Я раздеваюсь, сажусь на одеяло и греюсь без конца...

— Вода! Вода! — прокричал вбежавший матрос со «Сталинца». — Вода сладкая!

— Что ты сбрендил? — осадил его капитан.

— Да правда! Попробовали ребята сейчас воду в кунгасе, такую, как отливали за борт, а она сладкая. Сахар-то весь размыло!

Из десяти кулей сахара восемь размыло ударами волн и водой в кунгасе, а в девятом осталось полкуля патоки. Погорело пшено. Мука и остальные продукты не пострадали.

— Ну что ж! — говорит Шутенко. — Составим акт, что груз частично погиб.

— Болван! Важен не акт, а груз, понимаешь? Во-первых, погиб груз: сахар, пшено. Во-вторых, груз должен быть на месте в срок, а будет ли, мы не знаем. Дошло?

Пьем горячий крепкий чай. Идет дождь, капли его барабанят в крышу, и, не успев сосчитать их, мы засыпаем...

Там, где кончается Азия

Утром, часа в четыре, нас будят. Шторм затих. Едем малым фарватером, так как сегодня «большая вода», то есть большой прилив. Едем на остров Лангр. Ветер свеж, но волны невелики и дождя нет. Прохладно. Алеет горизонт. С правого борта к горизонту вздымается стальная масса воды. Медленно вползает на небо солнце.

Вот зеленый мыс Меньшикова. С другой стороны теряется вдали мыс Пронги. Впереди уже видно плавающую лепешку острова.

«Часов в шесть, — пишет Чехов, — мы были у мыса Пронги. Тут кончается Азия, и можно было бы сказать, что в этом месте Амур впадает в Великий океан, если бы поперек не стоял остров Сахалин. Перед глазами широко расстилается Лиман, впереди чуть видна туманная полоса — это каторжный остров. Налево (там, где Меньшиков мыс.—В. В.), теряясь в собственных извилинах, исчезает во мгле берег, уходящий в неведомый север. Кажется, что тут конец света и что дальше некуда плыть. Душой овладевает чувство, какое, вероятно, испытывал Одиссей, когда плавал по незнакомому морю и смутно предчувствовал встречи с необыкновенными существами».

С правого борта в свинцовых водах, в свинцовых облаках — черный силуэт берега. На той стороне Татарского пролива виден Сахалин.

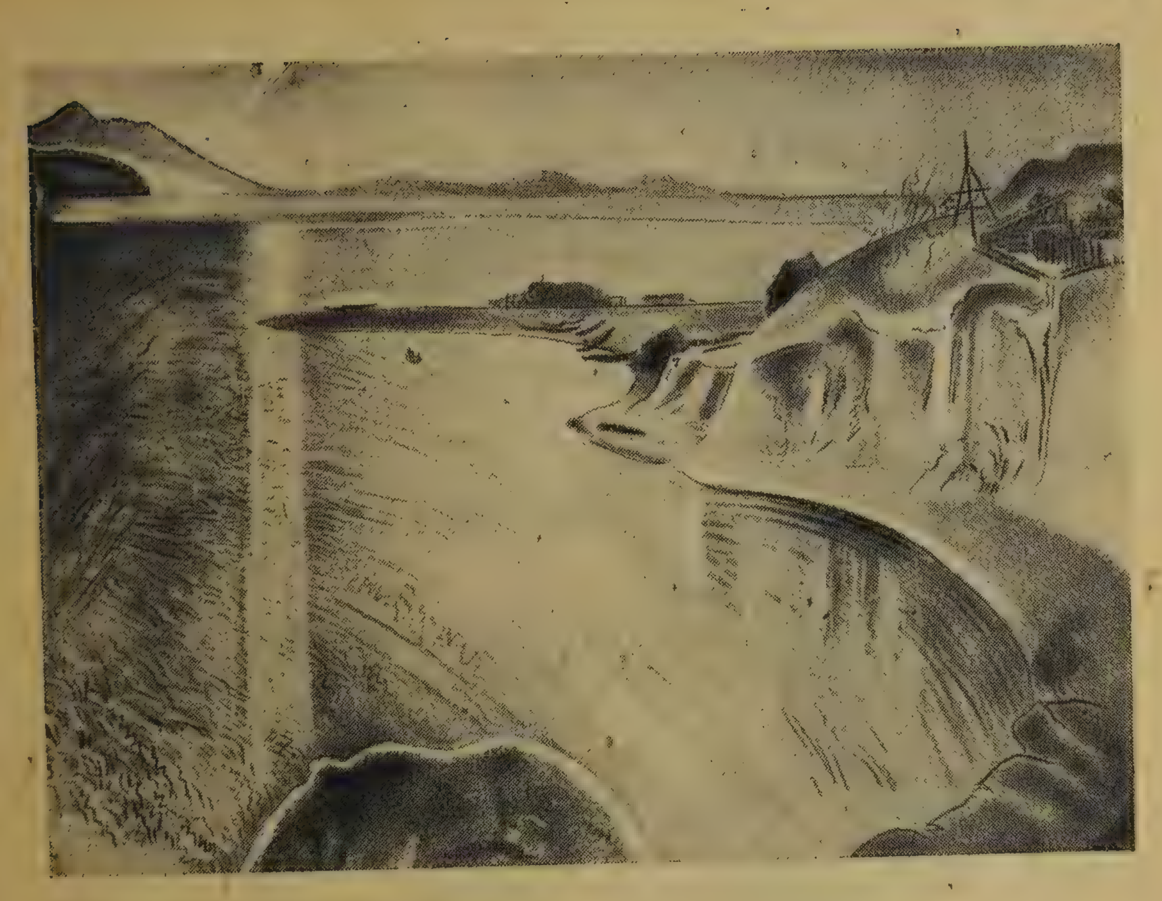
Впереди плавает земля. Остров. Мы приближаемся к Лангру. На нем видно несколько домов, здание промысла. Наш катер подходит к пристани. На пристани вонь — убирают оставшиеся от разделки туш белушьи кости. Их будут жечь, и получится великолепное удобрение — тук. Начальник поста проверяет пропуска. По промыслу таскаются ездовые собаки. Они подбирают с земли всякую рвань.

Наш катер отходит. Идем Сахалинским заливом Охотского моря. Качает. Катер ныряет, прыгает с волны на волну. С левого борта — остров Удд. Он такой же плоский, как и Лангр. Из блещущей воды высовывают головы нерпы и сивучи[1]. Мы свистим. Звери любят музыку и слушают свист. Кто-то стреляет из берданки.

Вон стальную расплавленную массу воды прорезает белоснежный нож, и, как жернов, вращаясь, показывается над водой круглая спина. Это белуха.

---

[1] **Сивуч — морской лев.**



Как хорошо в заливе Счастья!

Мертвая зыбь. Серое, мрачное Охотское море.

Кончается остров Удд. Чортов пролив. А вот и Петровская Коса.

Длинный невысокий берег, языком вдающийся в море, закрывает с этой стороны залив Счастья. Южный конец Петровской Косы близок к острову Удд. Пролив между ними не широк.

Это ворота в залив Счастья.

Впереди сильная рябь — быстрина. Катер дает полный ход, и мы пулей проскакиваем течение, с которым только при хорошем ветре может бороться парусное судно.

На Петровской Косе нас встречает заведующий промыслом Усков. У него хриплый голос и обветренное лицо, на котором блестят роговые очки. Его маленький мальчик сосредоточенно наблюдает за тем, как кошки бродят по обеденному столу и нюхают горчицу.

— Жена третий день уехала по ягоды,— смущенно говорит Усков.— Вот мы тут с сынишкой хозяйничаем.

Пьем чай, едим. Хрипит граммофон.

Брошены в заливе

Рано утром «Сталинец» уходит на Власьево. Залив Счастья во время отлива становится мелким, и проехать через него можно только с приливом. В отлив над водой выступают желтыми пятнами мели, которыми усеян весь залив. Это лайды.

Катер должен довести кунгас до Власьева и, оставив его там, уйти на Петровскую Косу.

Отойдя километров пять, мы слышим легко разносимые по воде звуки выстрелов на промысле, и нам кажется даже, что до нас доносится крик... Со «Сталинца» смотрят в бинокль на Петровскую Косу.

— Лодка! — кричит старшина. — К нам идет лодка!

Катер останавливается и отдает якорь, иначе снесет.

Подходит лодка. Выясняется, что шторм оборвал якоря и угнал в море кунгасы на соседнем зверобойном промысле. Нужна срочная помощь. На кунгасах были люди.

— Нам везти вас некогда! — кричит старшина «Сталинца». — Хотите — ждите, или лучше идите сами на Власьево шестами!

Гонец, приехавший на лодке власьевский колхозник, поедет с нами. Он предлагает Шутенко перевезти его к нам на кунгас. Мы тоже требуем, чтобы Шутенко перебрался к нам, так как он отвечает за груз и должен его доставить к месту. Но Шутенко боится пересесть на кунгас и громко матерится в рупор, отказываясь перейти. Катер тихо качается на воде. Но вот начинает стучать мотор. Маленькая лебедка выбирает якорь, и серый «Сталинец» плавно снимается с места. Быстрый ход скрывает его за огромной, поднимающейся к горизонту стеной воды.

Что делать? Ждать? Неизвестно, сколько времени будет пропадать катер. Итти на шестах? А течение? У нас только три шеста. Нас может унести в море. Мы можем сесть на мель... А груз? Путина! Груз должен быть доставлен сегодня. Иначе мы опаздываем. Должен!

— Ну как, ребята, идем?

Решено. А раз решено, так надо итти немедленно. Кунгас тяжел, и нам предстоит пересечь залив, то есть пройти оставшиеся пятнадцать километров. Этот путь надо успеть сделать, использовав прилив, иначе вставай на якорь, что значит рисковать посадить кунгас во время отлива на мель.

В нашем распоряжении появилась еще небольшая лодка, хозяин которой, власьевский колхозник, едет домой. Он же

перевез к нам с катера секретаря Власьевского сельсовета Воробьева. Таким образом мы гарантированы, что как-нибудь доберемся до Власьева, но если сядем на мель, то и груз и кунгас могут погибнуть.

Мы идем на шестах. Двое садятся в лодку и поочередно гребут. Маленькая лодка, как букашка, тянет огромный кунгас. Мы «скребемся» шестами часов шесть.

Наконец около двенадцати часов дня наш кунгас пересек залив и вошел в устье реки Иски. Тут возле высокого левого берега мы отдали якорь. Груз был доставлен в срок.

Глава четвертая

НА БЕРЕГУ ЗАЛИВА СЧАСТЬЯ

Там, где квакает лягушка

Идем к председателю сельсовета. Встречает хмуро, нелюбезно. Фамилия — Волкуев. Худой мужик, лет сорока.

— Перепись? — говорит он, доставая пенсне с белой металлической дужкой и водружая его на нос. — Хозяйственная... Это как понимать? Колхозная или лично каждого — индивидуально?

Об'ясняем.

— Так, — говорит он. — Хорошо. Значит, каждого в отдельности и всех вместе, и имущество, и доход? Цель конечно научная? — И в словах его чувствуется ирония. — Научная. Та-акс! — тянет он, раздумывая. — Ну что ж! Давайте! — И Волкуев замолкает.

«Давайте? — думаю я. — Вот ты какой! Ну, брат, тут держи ухо востро!».

— Вот что, товарищ Волкуев. Это все хорошо, но мы к вам не только за тем пришли, чтобы...

— Ну и чудесно, чудесно! — прерывает он, желая замять разговор. — Начинайте работу...

— Это мы знаем, что начинать надо. Перепись проводится не по нашему с вами постановлению. Вы как председатель сельсовета должны нам помочь...

— А что ж я могу сделать вам, товарищи? Я не статистик. Не статистик.

— Куда торопитесь, Волкуев? Послушайте, что нам надо. Работы тут не на день-два. А потом вам во Власьево груз привезли. Да и вообще у нас в России гостей лучше встречают, — смеюсь я. — Надо нам немного: помещение, где жить, — это первое, и второе — сегодня соберем общее собрание...

— Это зачем?

— А как же! На собрании об'ясним, кто мы, зачем приехали. Каждому колхознику в отдельности об'яснять — время зря тратить. Да и рыбаки, наверное, поинтересуются,

всегда вопросы найдутся. Из Москвы-то, поди, не каждый день к вам приезжают?

— Это верно, что не каждый день, — говорит он не торопясь. — Не каждый день. Только собрание собрать нельзя.

— Почему?

— Да не соберешь никого, — говорит Волкуев, точно вспомнив что-то. — Нет никого. Все в раз'езде — сенокос, ягода там и так далее.

— Ягода? Да ведь через день на зверя, на путину выезжать! Какая тут может быть ягода?

— Ну да! Эти-то здесь. Хозяев двадцать будет. Только их и собирать не стоит — заняты. Да все одно, вы же сами говорили, зараз двадцать хозяйств не перепишешь... А что касаемо помещения, то где бы вас устроить?

Выходим на улицу. Волкуев везет нас на другую сторону реки, туда, где фактория. Там домов десять. Это окраина села. На реке лодок почти нет. Значит, переправляться каждый раз будет трудно. Или проси лодку, или жди оказии...

Волкуев заводит нас в дом. Девять человек детей.

— Ну, хозяйка, гости пришли. Встречай! — говорит он.

— Да куда мы вас положим? — шамкает старуха. — Ить детев у нас пропасть. Визгу одного на все село хватит.

— Так вот что, товарищ Волкуев! Сейчас нам этими делами заниматься некогда. Да и не за тем приехали, чтобы помещение искать. К вечеру помещение, где хозяевам не помешаем, должно быть. Ясно? А пока оставим вещи тут и начнем работать. Всё

— Ну, Захаров! — говорю я. — Почуял, чем пахнет? Тут дело будет не простое. А сдаваться нельзя. Слухами земля полнится, до гиляков дойти может.

Захаров рассеянно смотрит на речку. В воде серебрится до яркости белый луч.

— Кулак, — отрывисто говорит он. — Только хотя этот Волкуев ничего особенного не говорил, но там, где квакает лягушка, обязательно есть вода...

«Волна»

Село Власьево расположено у устья реки Большая Искай, впадающей в залив Счастья. Залив в свою очередь находится на побережьи той части Охотского моря, которая носит название Сахалинского залива. Залив Счастья ограждают от Сахалинского залива острова Лангр, Удд и Петровская Коса.

Петровская Коса выходит из материка длинным «языком» и направляется на юго-восток.

Село Власьево было основано около 1904 года приходом сюда семи хозяйств: Жданов, Головачев, Кореннов, Ситников, Новикевич, Круглов и Тян Фа. К 1918 году село сильно разрослось в связи с богатой рыбалкой и удобным месторасположением: хорошая бухта, поблизости тайга с хорошей охотой, строевой и промысловый лес, ягодные и грибные угодья, великолепный сенокос и хорошие кормовые травы. В селе были организованы два промысловых товарищества — «Охотск» и «Галилей».

В 1924 году товарищество «Охотск» было реорганизовано в кооперативно-промысловую артель «Волна», дожившую до наших дней. В тот же год на побережьи Литке—Власьево стали вводить лов рыбы ставными неводами вместо закидных. Ставной невод — инвентарь очень дорогой и сложный. Поэтому артели вложили в новые орудия лова большие средства. Опыта работы со ставными неводами у рыбаков не было, и лов шел неудачно. В путину 1926 года «Волна», пригласив инструктора, провела лов рыбы настолько хорошо, что разом расплатилась со всеми своими долгами, составлявшими солидную сумму — шестьдесят тысяч рублей. «Галилей», об'единявший зажиточную часть села, отказался от инструктора, невод поставил неправильно, лов сорвал и прогорел. В 1928 году «Галилей» был описан, и имущество его продано с торгов. Тогда власьевские богатеи проникли в товарищество «Волну» и захватили в нем всю власть. Так в селе осталась одна артель «Волна», по прошлому бедняцко-середняцкая, а теперь управляемая кулачьем.

Инструктаж

Мы ходим по селу.

— Дядя! — подбегает к нам девочка. — Тебя просил Гриша к нему позвать. Народ собрался. Просят... — И она повела нас в факторию.

Зашли.

За прилавком — Гриша Девятириков. Лицо остренькое, лисицу напоминает. От Красной армии осталась фуражка. Он носит ее, слегка сдвинув на затылок. На лавках засели рыбаки, накадили мохрой.

— Здравствуйте, товарищи! — говорю я.

— Здравствуйте, здравствуйте! — обрадовался Гриша. — Вот хорошо-то, что пришли! А мы тут голову ломаем — как

быть? Чорт его знает! — Он привстливо улыбался и по-детски растерянно тряс бумажку. — Дело-то вот какое...

— Стоп, Гриша! Обожди. Дело сделаем, если сможем, а вперед дай познакомимся, словцом перекинемся.

Народу собралось хотя и немного, но хозяева деловые, серьезные. Минут пять пошутили, посмеялись.

— Дело-то вот какое, — начал Девятириков. — Груз привезли, а принимать я его не могу и не буду. Весов нет. Шутенко не приехал...

— Не станешь? — громко сказал Воронов, мужик футов на шесть с половиной, черный и огромный. — Не станешь? А жрать что? Завтра бригаде на зверя выезжать...

— Да, не стану. Как же мне, товарищи, груз принимать, когда сахар растаял, крупа погорела?

— А мука? Мука разве погорела? Ой, Гриша! Будто ты в первый раз муку видишь...

— Ну, хорошо. Мука цела. И прочие товары тоже. А как принимать? Ведь под суд пойду...

— Пойдешь, — утешил я. — Если не выдашь продукты и сорвешь путину, пойдешь под суд, Гриша...

— Дам — плохо. Не дам — еще хуже, — растерянно пробормотал Гриша. — Ну, а с этим что делать? — И он протянул мне листок.

Сбоку стоял штамп окринтегралсоюза. Правее значилось: «Распоряжения». В «этой распоряжении» сообщалось, что вводится целевое снабжение и каждому рабочему колхоза полагается получить по двадцать кило муки. Далее стояла точка и подпись Шутенко с бесчисленным количеством завитушек.

— Ну, — сказал Гриша, когда закончилось чтение, — что делать?

— Что делать? — повторил я и заметил, что взоры всех устремились к нам.

— Ну-ка, дорогой товарищ, — сказал Василий Рябов, сидевший в углу, — как понимать «целевое» прикажешь? Значит, работник ест, а детишки голодные. Так, что ли? Бабу чем — травой кормить, а? Как теперь...

— Ого-го! Это ты, брат, здорово хватил! Семье не дадут? А ну, скажи, Рябов, откуда это ты взял, что на семью давать не будут?

— Волкуев сказал, — ответил он медленно, глядя в пол. — Говорил секретом, что никому давать не будут из семьи, да и рабочим сейчас дадут по двадцати кил перед путиной, чтобы задобрить, а потом шиш будет, а не норма!

— Шиш? Значит, председатель сельсовета сообщает перед путиной, что...

— А мне Волкуев говорил, — вмешался другой рыбак, — что коней военвед совсем заберет. Навсегда!

— Каких коней?

— А как же! Сейчас на месяц мы сдаем от села военведу в Николаевск двенадцать коней. Так Волкуев говорил, что вранье это, что, мол, берут на месяц. Волкуев сказал — совсем возьмут...

— Ну, товарищи, раз так, давайте потолкуем как следует. Значит, по-вашему, что Волкуев скажет, так оно и есть? Вы, рыбаки, народ боевой, бывалый, знающий. Больше видеть пришлось, чем колхозникам-землеробам. А те не поверили бы! Неужто вам, как ребенку, что ни сунь, все сойдет?

— Раз лошадей ведете на месяц — через тридцать дней получите обратно. И, наверное, плату знаете, которую получать будете?

— У Волкуева бумажка. Говорил, что плата есть, а какая — не сказал: «все равно ничего не получите».

— Волкуев — дело другое. О нем особый разговор будет. Давайте поговорим о норме. Видите, мы тут с товарищем Захаровым совсем по другому делу. Понимаете сами, что решать и приказывать я не могу. На то у меня прав нет... Но я думаю так: Гриша весь товар должен принять сейчас. Немедленно. Это раз. Сложить его в амбар, не вешая, и опечатать, за исключением нескольких кулей муки, чтобы выдать по двадцати кило. Выдавать комиссией — один от колхоза, один от сельсовета. Чтобы провеса и прочих «неприятностей» не было. Это два. Третье — сейчас напишем записку Ускову на промысел Петровская Коса, чтобы дал на несколько дней весы. Ясно? Насчет нормы — вранье. Целевое снабжение вводится для того, чтобы лодырь получал как лодырь, а работник как работник. Оно вводится для улучшения снабжения. Чем больше наработал, тем больше и получил. Семья получать будет. Это ясно, и никаких сомнений быть не может.

— Сколько?

— Вот это дело другое. Приходится только жалеть, что интеграл посылает таких суб'ектов, как Шутенко, который из-за трусости бросает груз и срывает своим бестолковым, безответственным поведением введение целевого снабжения. Да еще перед путиной. Пока нужно немедленно послать в Николаевск человека...

— Это зачем? — спокойно спросил неожиданно вошедший рыбак.

— Затем, товарищ Волкуев, чтобы рыбаки знали, сколько будет приходиться нормы на семью, — отрезал я.

— А-а! Верно, верно! — протянул он.

— Надо все хорошенько узнать. Попросим прислать инструктора.

— Ну вот, Захаров, — сказал я, когда мы возвращались домой, — это был, пожалуй, после шторма «второй инструктаж сотрудника экспедиции»...

«Опять пришли, проклятые!»

С утра начинаем работу. Сначала заполняем общие формуляры: поселенный список, в котором заключаются сведения по сельскому совету, перечень селений, описание угодий, расстояние от ближайших пунктов — городов, телефона, радио, почты, больницы и т. д. Потом заполняем особый бланк на школу, промысел Петровская Коса и большой, очень сложный колхозный бланк. После этого начинаем перепись домохозяев заполнением похозяйственных карточек.

Что такое похозяйственная карточка — «формуляр № 2»? Это тетрадь, заключающая в себе множество вопросов. Одних разделов в ней — сорок один. Каждый раздел — это таблица с пустыми графами. В нее карандаш регистратора заносит цифры. Как на чертеже строителя тушью ложатся контуры зданий, так сложный и запутанный облик хозяйства, фотография действительности не только сегодняшнего дня, но и последних лет, видоизменений, движение укладываются цифрами в специальные графы бланка. Формуляр № 2 — это исповедальный лист. Мы узнаем: что имеет хозяин, что сделал сам из инвентаря и что купил в городе, в государственной, кооперативной торговли или частной лавке; сколько добыто продукции всех видов промысла и как и чем добыто; куда пошла продукция — кому продано и сколько оставлено себе, сдано в колхоз. За сухими цифрами скрываются животрепещущие вопросы дня — труд, желания, достигнутое. Сухие цифры глядят привычно, как с циферблата часов, но за их, казалось бы, непоколебимой ясностью скрывается жизнь. Умей только читать.

Сначала работа идет медленно. Ходим «по приходу», как мы, смеясь, называем хождение из избы в избу.

Из-за того, что Волкуев провалил нам организацию общего

собрания, тратим массу времени на об'яснения каждому, зачем приехали, зачем перепись.

Народ тут зажиточный. Замкнутый. Хозяйства хуторные. Кулаки окопались, огородились. Во избежание недоразумений на этой изгороди висит удобная по нашему времени надпись «Колхоз». В селе много бедняцких изб; детей куча, грязные, в коротких драных штанах, ноги цыплячьи. Дети пугливо смотрят на нас. Молодежь чрезвычайно скромная, молчаливая с посторонними. Невольно вспоминаешь кержаков-старообрядцев. Бедняки молчат. Их много: Вагановы, Вороновы, Брякова, Кириллов, Гордеев, Георгиев и другие. Их теснят кулаки, которые владеют колхозом. Старики большей частью тоже бедняки — дети выросли, завели собственное хозяйство, а они так, ковыряют помаленьку. В колхоз их не принимают. Таков «классовый принцип Волкуева и К°». Впрочем, некоторых приняли, но на тех же условиях, как раньше работали полупайщики, то есть за день работы старик получает пятьдесят — семьдесят пять процентов трудодня, а большинство стариков по своей работе могут любого молодого за пояс заткнуть — народ крепкий. Волкуев провел своеобразное классовое расслоение. Бедняков записали в середняки. А богатеев — Жданова, Волкуева, Дияна Григорьева, Рыбака, Харпуева и других — в бедняки.

Ходим по избам.

Бедняки об'ясняют быстро. Отвечают сразу. Встречают любезно. Спрашивают о Москве, о жизни «в России»— далеко ведь до нее! Иной раз пошутим, посмеемся, иной раз угостят ягодой, молоком. Расспрашивают о вождях: какой из себя, веселый или серьезный, голос какой. У кулаков иначе. Двери на запоре, собаки злы. Встречают молча. На лицах: «опять пришли, проклятые!»

Когда мы говорим, что мы статистики, то люди понимающе качают головами:

— Знаем, знаем! У нас во Власьеве свой сельский статистик есть.

Но стоит лишь начать опрос, хозяин «забывает», «плохо слышит»...

— Сколько у тебя литовок [1], отец?

— А, право, не знаю,— говорит он,— кажется, две или три.— В то же время пять острых кос видно в окно у плетня.

— Дом есть?

— Есть.

[1] Литовка — коса.

— Сарай?
— Нету, нету, милый. Все тут, все тут...
— А скот где?
— Какой скот?
— Известно какой — лошадь, коровы...
— Коровы, коровы, — радостно улыбается хозяин, будто только что узнав, что корова — скотина.— Коров, действительно, держим.
— Ну так где они стоят?
— А в стайке, — говорит он.
— С крышей стайка?
— Да.
— А сено где? Тут же?
— Как тут же? — возмущается хозяин. — Скотина все пожрать может. Отдельно сено!
— Да где же оно?
— В сарайчике.
— А сказал — нет сарая.
— Так мы что? Сразу будто и не поймешь!
Пишу: один дом, один сарай, один скотный двор.
— Баня есть?
— Кака-така баня? Так, избушечка махонька. Уж не пишите ее...
Богачи прибедняются.
Заходим к Диняну. Дом огромный, рубленый. Здороваемся. Поговорив, начинаем писать.
— Дом один, два?
— Один, один...
— Ну, а это что? — показываю я на второй дом.
— Это летник.
— То есть как летник? Изба, хозяин, не на лето ставлена. Бревна вон какие. Другое дело, что не живет там никто, а дома два.
— Нет, дом один, а это летник. Так, кой-чего поделать, послесарить, побондарить.
— Значит, промысловая изба?
— Да какая изба — так мало-мало поработать!
Трудно получать сведения у богатых рыбаков.
Пишу конечно вне зависимости от уговоров, так, как есть. Власьевские кулаки прибедняются, они бесстыдно лгут, подхалимничают, поддакивают, стараются угодить, если видят, что подробно расспрашивают их.
Трудно убедить людей в том, что перепись не имеет отношения к налогу. Впрочем, богатые если не видят, так чуют

несколько дальше. Они понимают, что хотя это не имеет отношения к налогу, но имеет отношение к общей политике государства.

— Сколько у тебя ружей, хозяин?

— Да бог его знает! Кажется, два, или нет, три...

Ну, кто поверит, чтобы охотник не знал, сколько у него ружей?

— Одностволки, двухстволки?

— Какие там двухстволки! Одностволки конечно...

А из-за угла шкафа торчат два вороненых сверкающих ствола...

Цифры берутся с потолка. Хозяин врет. Он годовой охотник. В интеграле получает дробь, порох, свинец. За целый год он сдал... две белки и одного колонка. Потом выясняешь в интеграле, что белок было не две, а пятьдесят две, колонков не один, а двадцать, и кроме того три лисы-крестовки, две красных, выдра и...

Приходится вечерами сидеть у Гриши в фактории и проверять по книгам, кто что сдавал.

Три месяца тому назад во Власьеве была раскрыта большая кража. Сокур, заведующий факторией, или иначе власьевским отделением интегралсоюза, пьяница и вор, за водку менял, продавал и с пьяных глаз просто раздавал муку, сахар и прочие продукты. В течение весны им был «разбазарен» весь трехмесячный запас муки, сахара, крупы и махорки. В этом ему помогали председатель колхоза и председатель сельсовета. Все они были арестованы и отправлены в Николаевск. Краденая мука растеклась по селу. Однако мука эта попала не к беднякам. «Отдавал» и «продавал» Сокур краденое «своим». Когда мы приходили в избы к беднякам, то у них, действительно, не было видно хлеба. Они ждали тот груз, который доставили мы. А у зажиточной части села хлеб был испечен не из привезенной нами муки.

Бестолковая записка Шутенко только запутала положение и создала обстановку, в которой легко было распространить всякого рода ложные слухи. Слух, пущенный Волкуевым, был нами во-время пресечен, но все же в «крепких» избах, не тех, что окрепли в результате об'единения в колхоз, а тех, кто, распродав имущество, живность, вступил в колхоз,— нас встречали жалобами:

— Что делать?

— Как жить будем?

— Неужто детям есть не дадут?

— Пропади они пропадом! Нет у нас ничего.

— Три месяца хлеба не видали, вот как живем!
— Так ведь, во-первых, ваши же односельчане муку раскрали, а во-вторых, вам теперь по двадцать килограммов выдали, на первые дни это должно хватить. Выдали вам австралийскую крупчатку, вы говорите, что у вас муки не было, а из чего же тогда этот хлеб?
... На столе пышный, высокий пшеничный хлеб. Из крупчатки, которую только что получили, пекут пироги, калачи.
— Значит, есть запас, если пшеничный хлеб печете. Есть? Никто не говорит, что это плохо, ежели конечно он не краденый, но затем стонать?
Бедняки не стонут. Жалуются только те, у кого хорошие избы, у кого много коров.
Кстати, о коровах. У нашего хозяина их две. Великолепные. Дают по двадцать бутылок молока каждая. А семья у него сам четвертый. Пьют молока мало, только с чаем. Куда оно идет? Конечно часть идет на творог, сметану, а главным образом продают бескоровным по два рубля бутылка. У хозяина в сенцах даже четверти со специальными ярлычками стоят — кому какая.
— Можно корову продать? Две у меня,— встречает нас обычный вопрос.— Коли можно — пиши одну, все равно продам...
— Знать, скоро в колхозе обобществлять скот будут, что кулаки забеспокоились, — решает Захаров.

Тян Фа

Китайцы — тут их несколько семей — производят самое хорошее впечатление. Они очень добродушны, честны и необычайно трудолюбивы. Русские «колхозники» Волкуевы, Ждановы, Харцуевы относятся к ним плохо. Зато беднота дружит, иной раз помогает, так же как и они помогают бедноте. Некоторые китайцы женаты на русских, но большинство на гилячках и кореянках. Огороды у них несравненно лучше, чем у русских.
Особенно понравился нам Тян Фа. У него живет жена Сокура с детьми.
— Сколько берешь с квартирантов, Тян Фа? — спрашиваю я.
— Тян Фа ничего бели нету. Тян Фа денег не надо, — говорит он.
Тян Фа сидит на топчане, поджав ноги. У него добрейшее лицо, чуть удивленные, приподнятые брови.



Китайцы — их во Власьеве несколько человек,— как и у себя на родине, носят китайские туфли и одежду.

Дом Тян Фа открыт для всех.

— Тян Фа, почему ты не в колхозе? Не хочешь?

— Чего не хочу, наша хочу! Его не бели! Его кунхоз говоли: «Тян Фа сталика еси — его лаботай не можина». Тян Фа кунхоз не бели. Нехолоша кунхоз говоли. Стары люди тоже люди еси. Понимай надо! Наши китайска — люди гилякски кунхоза ходи, стойбище Авлы ходи. Там лаботай, Тян Фа сталика — Тян Фа Авлы ходи не можина...

Действительно, китайцы села Власьева, желая работать в колхозе, обратились к гилякам. Гилякский колхоз «Поми» на острове Удд (в стойбище Авры) принял их к себе, а «Волна» отказала. И не только потому, что Тян Фа старик. Есть китайцы молодые. С высоты старого, квасного, российского гонора власьевские заправилы Волкуевы и К° свысока относятся к «инородцам», для них это слово еще существует.

Тян Фа показал нам свои «владения» — клочок земли возле дома

— Огород у тебя, Тян Фа, образцовый. Все у тебя хорошо растет — и картофель, и капуста, и морковь, и свекла, и репа. Смотри, Тян Фа, какой огород! Ни у кого такого нет. А говорят, что ты работать не можешь, что тебе работы в колхозе нет. Ведь ты такой же огород, если бы тебя приняли, мог бы в колхозе устроить. А? Правда, Тян Фа? Шанго?

— Шанго, шанго! — смеется он.

Тян Фа сидит на корточках в дверях своего дома и пускает голубые струйки дыма из тоненького черного черенка своей трубки. Его брови подняты, и кажется оттого, что Тян Фа еще больше улыбается...

Как Василий Гордеев товарища искал

Передо мной старик. Оказывается, ему только пятьдесят два года. Он пришел дать нам сведения. Василий Гордеев. Порт-артурец. Плешивеющая седая голова, синеватость в лице. Год плена у японцев не прошел даром. Пленные солдаты читали Маркса, Ленина. Была даже у пленных организованная ими же книжная лавка. Попасть в нее стоило большого труда. Перед тем, как дать первую книжку, устроители лавки «прощупывали» приходившего к ним, так как боялись, что по возвращении на родину, после окончания войны, ненадежный человек донесет о том, кого он видел в лавке и кто увлекался литературой. После первой книги все шло уже легко и свободно. С человеком знакомились и потом — читай любую.

— Но конечно в России знали, какие были среди пленных настроения, — рассказывает Гордеев. — Когда окончилась война и солдаты возвращались на родину через Владивосток, пароходы в Японском море задержали. Солдаты кинулись к капитану. Хотелось скорее домой. «Почему стоим? Скоро ли пойдет? Скоро ли Владивосток?» — «Мины», отвечал капитан.

Капитан ссылался на то, что пароход попал в минное поле и поэтому он вынужден ожидать, а чего, собственно, ожидать — неизвестно. Потом выяснилось, что минами на этот раз были сами солдаты. Их боялись, видели в них людей, которые могут потревожить благоденствие Российской империи, и поэтому задержали пароход, чтобы успеть подготовить им встречу.

— Малость постояли, а затем пошли. Во Владивостоке прямо с пристани маршем отправили нас всех на вокзал... В городе солдаты не побывали. Первое впечатление о роди-

не было неприятное. Сквозь серые улицы Владивостока чуть ли не бегом прогнали возвращающихся домой пленных на вокзал. На станции народа не было. Всю публику разогнали, чтобы она не могла войти в соприкосновение с солдатами.

— Нас боялись, будто мы были заразные... Пригнали на вокзал, посадили в вагоны и «засвистели», — говорит Гордеев.— Царь был напуган революцией 1905 года. По дороге мы встречали поезда, целые составы. В них угоняли в ссылку рабочих за восстания. Они кричали нам: «Помните нас, братцы! Заступитесь за нас!»

Гордеев умолкает. Я сижу над начатым бланком, положив карандаш.

— Приехал я,— продолжает Гордеев,— вижу — обмишурили нас с думой. Хотя царя и заставили ее собрать, а все же, сам ли он, или его помощники, сумели так устроить, что дума не во вред царю была.

Как раз в то время стали помещики землю продавать. И наш тоже,— сам я арзамасский. Собрал барин нас и предложил по тридцать пять рублей за десятину. Но я вышел и говорю (лозунг у нас был тогда «земля и воля»): землю, говорю, продавать нечего, земля, говорю, наша. Чья, говорю, кровь в ней и пот, того, говорю, и земля...

Рассердился помещик, только на меня глянул и пошел.

Все тут на меня набросились. Что наделал, Гордеев! Что наделал! Один старик отозвал в сторону,— железнодорожник он, в политике конечно здорово разбирался,— и говорит: «Ну, Васька, хоть ты по уму и вперед ушел, а по нашей жизни — отстал. Еще не дают у нас так говорить. Пока не поздно, уходи отсюда, куда хочешь, но только иди, иначе заберут тебя».

Ну, и пошел я. Прав был старик: надо было итти. Собрал я свои монатки в котомку и сказал своим: «Иду товарища искать, проведать», и пошел... Вот и хожу. Хожу, товарища ищу! Четыре дома ставил. Один в деревне, другой возле Хабаровска. Оба белые сожгли. Третий дом японец спалил. Сил я сколько потратил! Поту сколько вогнал. И не жалко: сгорели — и нету. Не те дома были. Не на своем месте строены, ставлены.

Искал. Так вот с тех пор, как ушел из родного села, в Россию и не возвращался. Все «товарища искал, проведывал». Вот теперь— поставил дом четвертый. Сынов взрастил. Руки сильные и головы у них хорошие. Дом поставил на-

стоящий и товарища нашел... Вот он у меня,— говорит Гордеев, широко разводя руками, — кругом он, мой товарищ. С ним в плену был. С ним землю пахал. И с ним теперь вместе тружусь, рыбу ловлю, зверя бью. Все мы — товарищи...

Встает Гордеев. Голос у него зычный, и раненая трясущаяся рука не выглядит жалкой. В глазах у Гордеева блеск и твердость.

— Нашел я своего товарища! Нашел... Ну да что там!— спохватился он. — По-стариковски заболтался я. Не сердись, что время занял. Да и мне надо итти, а то, видишь, солнце, на сенокос пора. Покосили траву, а тут дождь. Вот и надо солнцем пользоваться. Переворошить сенцо. Пиши, товарищ...

Я пишу, Гордеев говорит охотно и толково. Бланк заполняется быстро.

Привет Литвинову

— Надо итти,— говорит Гордеев,— а жалко — москвичи у нас редко. Поговорить охота, узнать о том, о сем, словом перекинуться...

— Сиди, сиди, Гордеев. Гостем будешь. Рады тебя видеть.

— Говорят,— так я слышал,— рассуждает Гордеев,— что германскую войну из-за пустяка начали. Конечно это только, можно сказать, повод один, но рассказывали у нас в окопах, что будто матушка-царица Мария Федоровна в Германию приехала, а там ее не то что встретили, а даже извозчика не подали. И пришлось ей пешком итти.

У Гордеева пять ран, полученных в германскую войну. Пять ран, полученных за пешую прогулку «матушки-царицы Марии Федоровны»!

Мы смеемся с Гордеевым. Отдуваясь, пьем чай с голубицей. Синяя ягода лопается в горячем, крепком кирпичном чае, и кровавые сгустки ягодного мяса тают в чайной мути...

— А как насчет мира и войны слышно?— спрашивает он.— Неужели нельзя все вооружение в свете ликвидировать и одних постовых оставить?

Я рассказываю ему о проекте советской делегации на конференции по разоружению, о самой конференции, о наркоминделе Литвинове, о политике мира Советского союза..

— Так, так! Правильно! — восторгается Гордеев. — Ай да Литвинов! На портретах его рисуют? Видал, видал. Ловко! Ну, известно, что цари и заграничные правительства не согласятся. Где им, у них и цель другая...

— Цель другая? Верно, старик!

— Литвинова видал ты? — спрашивает Гордеев
— Видал.
— Так приедешь в Москву, скажи ему: мол, Гордеев просил передать, пусть об'явит всей загранице, всем иностранным правительствам, что, мол, Гордеев Василий и прочие товарищи согласны отдать Россию, землю, все согласны отдать иностранным заграницам, только, мол, товарищи, говорят, пусть они царей уберут и советскую власть у себя поставят. Пусть поставят, а мы все им отдадим! И землю, и воду, и рыбу, и хлеб! Все! Берите, товарищи, забирайте! Нам не жалко! Со своими не подеремся, поделимся... Верно я говорю? Верно! Так передай, не забудь!

Гордеев натягивает фуражку, выжженную солнцем, старую, полинявшую, и неумело жмет мне руку.

— Не забуду, Гордеев,— кричу я в окно,— не забуду — передам!

Интеграл

«Интеграл» самое популярное слово на побережье, в тайге. Даже популярнее «нормы». Для рыбака, охотника — русского, гиляка, китайца, корейца — интеграл это все. Тут он получит норму, то есть полагающиеся ему продукты. Тут он купит дробь, порох, ружье, гильзы, капканы. Здесь он купит разные товары — от спичек до шляпы включительно. Здесь он найдет манильский джут и дель для неводов, сетей... С интегралом он заключит договор на охоту. Всю убитую им дичь, зверя, пушнину он принесет сюда. Гриша будет трясти шкуру, дуть на мех и тревожить своими пальцами нежное спокойствие звериной шерсти.

Гриша назначит цену, и он отдаст шкуру потому, что Гриша обманывать не станет, а скажет сразу «настоящую» цену — интеграл не Гришин, а кооперативный. Под сданную пушнину, дичь, зверя он получит чай, сахар, мыло, табак — все, что ему надо. Но может случиться так, что он придет в интеграл и попросит муки, дроби и пороха, а Гриша возьмет книгу, где записаны все «сделки» с рыбаком или охотником, и скажет:

— Хозяин, ты уже все забрал, что мог. Теперь у тебя нет ничего из сданной тобой продукции неоплаченного. Плати денежки...

— Нету, Гриша. Дай так, а уж потом принесу, что смогу.

— Ну, ладно,— говорит Гриша.— Давай. Так и запишем: мол, взял в кредит пороху два кило и дроби пять, и муки...



В фактории рыбак, охотник получит [illegible], купит дробь, порох и разные товары, и всю убитую им дичь, зверя, пушнину он принесет сюда.

Только приноси хорошего,— смеется он,— выдру, что ли, а то все красные да красные лисы...

Охотник получает кредит.

Интегральная кооперация в отличие от других видов кооперации об'единяет в себе и снабженческие и заготовительные функции. Идет заготовка продуктов промыслов: рыбы, зверя (его жира, шкур, кожи), дичи, молока, молочных продуктов, яиц, орехов, ягод и т. д.

В небольшой избе интеграла очень многое умещается.

Интеграл — это центр села.

Дом под железной крышей. Половину занимает Гриша с семьей, а в другой, большей, лавка. Есть еще сторож Миша. Китаец. Хороший парень. Молодой, добрый. Всегда улыбающийся. Всегда рад помочь.

— Давай помогу. Давай подниму на спину.

Так вдвоем они управляются. И вешают, и рубят, и принимают товары. Все делают.

По селу ходит холерина. Дошла очередь и до Гриши. Заболел. Зайдешь, бывало, к нему в интеграл, сидит Гриша за прилавком. Под потолком чучело орла. На прилавке товар: порох, дробь, ружья, принятые шкуры зверя, капканы. Сидит Гриша бледный, худой. Мучит его болезнь. В фактории клуб сельсоветский. Придут сюда за нормой местные власьевцы, приедут бронзовые, чернокосые гиляки с Петровской Косы и острова Удд, сидят, курят, плюют на пол, говорят. Часов ни у кого нет. А если есть, то архирейские. Живут тут по солнцу, по погоде, чаще на барометр смотрят, чем на часы.

В интеграле бывают все — и стар, и млад. Заходят по делу и без дела. Здесь обсуждаются все колхозные и все сельсоветские дела. В интеграле идут разговоры, создается «общественное мнение».

Гриша, несмотря на болезнь, не может бросить работу. С утра приезжают на лодках за нормой с той стороны залива, с острова, гиляки. Из Верхнего Власьева приезжают колхозники верхом. Работают Девятириков и Миша без выходных, от солнца до солнца. Тут и отпускать и принимать товары надо.

В этом году ягод пропасть. За один день хозяйка пуда два собирает и несет сдавать в интеграл. За ягоду хозяйки получают деньги, а частью — мукой, мануфактурой, табаком. Ягоду Девятириков и Миша ссыпают в бочки, закупоривают, просверливают в крышках два отверстия и льют туда через воронку растопленный на таганках, в чугунных котлах са-

хар. Остуженный перетопленный сахар, тягучий и белый, льется в бочку и заливает ягоду. Бочки окончательно закупориваются, и подсахаренная ягода на кунгасах плывет в город.

— Самое главное,— говорит Гриша,— вопрос руководства и кадров...

— Что-о?

— А как же! Вот, к примеру, вводят целевое. Нет того, чтобы прислали подробное сообщение, инструкцию. В чем оно заключается, это целевое снабжение? Почему переходим на него? Чем оно выгодно, как будут снабжаться рыбаки?.. Тут вся вина правления Нижнеамурского интеграла. В другой раз таких бумаг загнут, что потом только пиши да отписывайся. А кадры что? Возьми меня с Мишкой. Ну, я еще ничего — кадр, работать могу. А Мишка только помогает. Ведь неграмотный! Учить надо.

А потом обстановка сложная. Тут тебе русские, власьевцы, под боком — в первую очередь требуют, а приезжают гиляки—тоже в первую очередь требуют,—национальный вопрос! Вот и крутись. А тут «штор» — вон сахар размыло! Когда другой доставят? А полтора куля нам все равно, что мышь против собаки,— куда их хватит! Все требуют. А кому давать? Вот и разбирайся. Выходит, что давать ой как с умом надо! Дашь — работа совсем другая будет. Тут, брат, политика, а не работа!

— Верно, Гриша, политика. Самая настоящая политика.

— Ты политику свою гнешь а тут тебе Волкуев тоже свою политику находит. Вот и политикуй!

— Волкуев? Опять Волкуев?

Молчат рыбаки.

— Ну, хорошо, товарищи, а кто вам Волкуева посадил? Из города прислали?

— Нет.

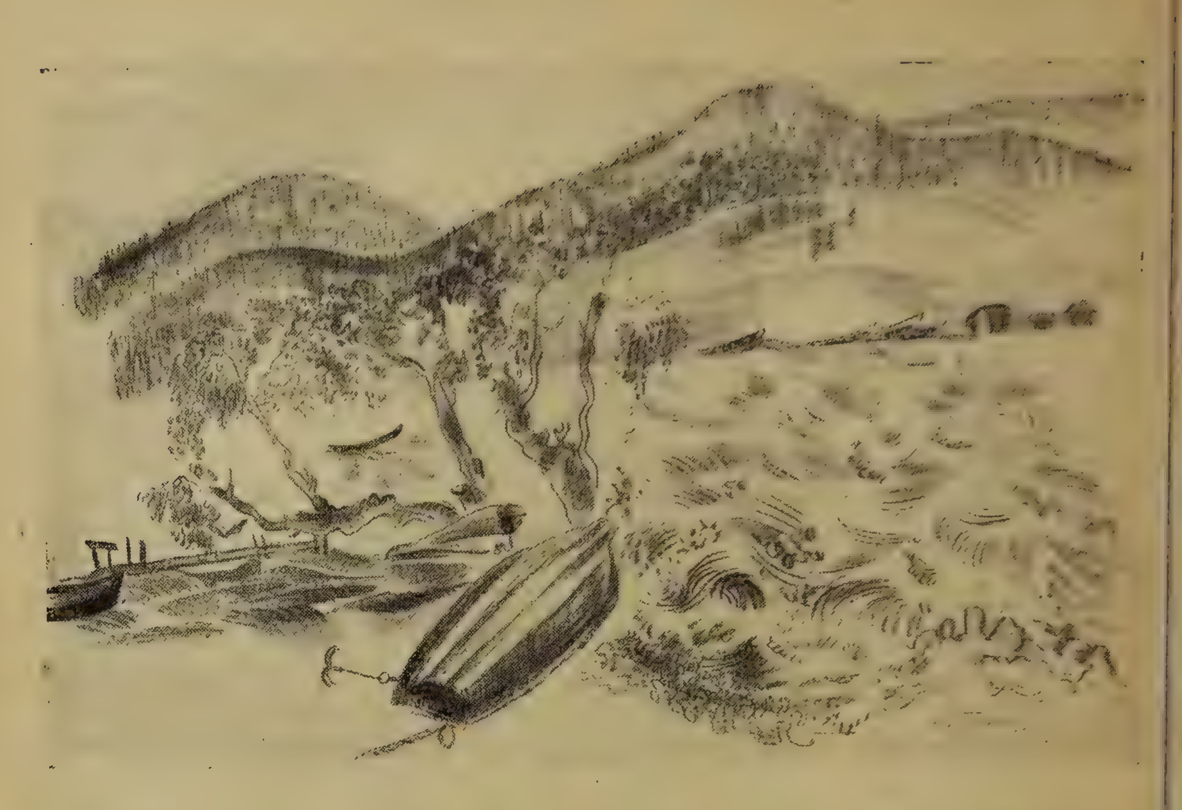
— Свой, значит, власьевский. А кто его выбрал? Вы?

Молчание.

— Как же так, рыбаки? Волкуев не городской, здешний, выбрали вы, а когда спрашиваешь — молчите. Кто ж его выбирал?

— Жданов — угрюмо обрезал Кириллов.— Жданов его и выбирал. Вот он, смотри, дом его...

Отдельно, на отлете, стоит дом Жданова. Это хутор, поместье. Три стороны в заборах, а фасад — два дома, и между ними ворота. Посреди ограды двор. Крепость стоит, а не дом.



Ветер тормошит воду, и волны лижут берег залива Счастья.

— Жданов? А что же вы смотрели, неужели не могли своего выбрать?

В интеграле полно народа. Сидят на лавках, насупились. Собрались беднота и окрепшие, помаленьку наладившие хозяйство рыбаки.

— Они сильней! — сказал один.

— У них сила! Все вместе. Друг за друга держатся! — сказал второй.

— Нас мутят, подговаривают, натравливают друг на друга! — сказал третий.

— Перед носом куском помашет, другой и не устоит!

— Им свободней, у них забот меньше, а наш брат...

Вошел Волкуев.

Слова упали недоговоренные.

— Здравствуйте, товарищи, — сказал Волкуев. — Разговаваете? Хорошее дело. Товарищ, поди, интересное про Москву рассказывает?

— Нет, Волкуев, не о Москве речь...

Молчат рыбаки.

«Жаль, — думаю я, — разговор прервал. Надо услать».

— Вот что, Волкуев. Мы к Рогову через полчасика зай-

дем, а вы сейчас к нему сходите, он там список составляет для нас, кой-какие сведения, говорил, без вас дать не может. Пожалуйста, сходите, а то уж очень работа затягивается.

— Разве уж так спешно?— улыбается Волкуев.— Ну что ж, схожу. Почему не постараться для хороших людей!

И он ушел.

— Ну и хитер!

— Думаешь, товарищ, не заметил Волкуев, что ты с нами о «них» говорил?

— Пускай заметил. Раз разговор начали, надо кончать. А то при нем у вас языки к зубам пристают — не шевелятся...

— Что сделаешь?

— Что? Да то же, что и они. Организуйтесь! Вот и все. Ведь на вашей стороне правда. На вашей стороне сила. Давайте напишем письмо — хотите — в газету, хотите — я увезу сам его в Николаевск. Всякий, кто к вам придет, будет помогать вам, и только вам...

— Жмут нас. Например, Гришка — средний рабочий, он получает десять рублей за день, а я похуже, мне мой день считается пять, или семь пятьдесят. Кто лучше, то пятнадцать рублей и даже двадцать. Вот и намножат тебе, когда расплачиваться будут, как захотят.

— Почему?

— А как же! Кто решает, какая у тебя доля? Полный процент среднего трудодня, меньше или больше? Бригадное собрание должно решать. А где оно у нас? Нету. Значит, бригадир. А кто бригадир?

— Жданов!— ответило несколько голосов сразу.

— Верно, Жданов и еще два таких же. Вот тебе и доля...

— Первое мая готовили. Учитель у нас Юдин, комсомолец. Молодой да спористый — постановку делал. Школу флагами, лозунгами украсил. Ребята конечно ему во всем помогали. Одним словом, подготовка к празднику была проведена хорошо. Так что «они» устроили, Жданов да Волкуев? Ребята боевые у них, пообтесанней других. Пришли. Мы, говорят, играть будем. Будете? Ладно. Стали играть. Сладили все, готова постановка. А они накануне Первого мая приходят и говорят: «Мы, товарищ Юдин, играть не будем». И точка. Как хотите теперь Первое мая и проводите! А ночью все лозунги кто-то посрывал. Думали сорвать праздник, но ребята нашлись, заменили их, и хоть не так важно, а постановку сделали...

— Вон Воробьев,— да ты не прячься, покажись! Окруж комом прислан. Комсомолец. Секретарь сельсовета. А что он Толку-то от него? Знай за девками бегает. За волкуевской теперь ударять начал. А она перед ним хвостом вертит Воробьев-то на хвост смотрит. а папашка ее радуется. Воробьеву работать не дает, печать при себе держит, что в город или куда пишет, не показывает.

— Верно это, Воробьев?

— Как же неверно — верно!— засмеялись рыбаки.— Хвостом вертит, а не ухватишь! Даже и тут нашего брата провели

Воробьев краснеет.

«Какая в селении ведется комсомольская и общественная работа?» вспоминаю я вопрос из текстового описания колхоза. Вчера Воробьев на все вопросы ответил одним словом «нет». Даже не мог сказать, сколько комсомольцев в селе.

— Так как же с письмом, товарищи? Пока время идет, вы вот собирайтесь, вопросы заранее решайте, а потом, договорившись, организованно и выступайте. Голоса у вас здоровые, сильные, не хуже рук. Они вас только обмануть соберутся, перехитрить, а вы уж — с готовым пришли. А там, смотришь, из города подмога подойдет...

Беда

После большого дня работы мы возвращаемся домой усталые. Захаров первое время только присматривался, слушал, вникал. На ходу во время работы проходил инструктаж, обучение статистическому ремеслу тунгус Захаров.

Постепенно он осваивался с работой и начал заполнять бланки № 1 — демографический формуляр. Ему доставляет огромное удовольствие задавать вопросы при заполнении бланка. Он делается тогда важным и строгим. Он подражает моему голосу и интонациям. Иногда Захаров забывается и начинает путаться в своих записях. Он слышит в словах непроизносимые, дополнительные звуки — буквы, и поэтому у него иногда гласных больше чем надо. И хотя редко, но все же случается, что из-под его карандаша выходят такие слова, как например, «Арадивоныськой», что значит Родионовской (волости). Но в этом не столько виноват Захаров, сколько плохая постановка преподавательского дела в техникуме, а также то, что он зачастую переносит автоматически особенности своего языка в русский.

Захаров молчалив, но иногда начинает вдруг рассказывать различные случаи из своей жизни. Все его рассказы

длинны и начинаются одинаково: «У нас на Селемдже», или: «Когда я был на Селемдже».

Захаров любит свою далекую родину.

Мы возвращаемся усталые. Волкуев поместил нас к своему другу Свищеву.

Изба у Свищева небольшая, но очень чистая, богатая.

Свищев — украинец. Он привез с собой, из своей южной страны, привычку белить избы, и его дом стоит единственной мазанкой на всем селе. У него хорошее хозяйство, великолепные, породистые коровы и везде во всем порядок. Свищев занимается главным образом охотой. По вечерам, после работы, он рассказывает о том, как он бродяжит по тайге. На столе горит лампа, мигает пламя на обуглившемся фитиле. С'еден ужин, чай стынет в стакане, и приятно послушать в теплой избе о таежных вьюгах и звере...

— Колонок — зверь хитрый, хотя и маленький,— говорит хозяин, почесывая бороду.— Охота у нас главная ловушками: капканы, петли, западни. Вот наставишь их по разным местам, место ой как знать надо! Глядишь, в обход пошел, тут зверь, там зверь поймался! А колонок — нет! Его не всегда изловишь. Бывает, ступит он в капкан, ударит железо, стиснет перебитую лапку,— никуда не денешься! А он побьется и сидит потом над своей лапой. Замерзнет она, и колонок отгрызет ее, оставив в капкане зажатый кусок своей ноги, а сам с культяпкой убежит в тайгу. Потому что дух в нем сильный, мясо и кость свои не жалеет. Чует беду, уходит. Только разве далеко на трех ногах ускачешь...

Свищев задумывается.

— А медведя как бьете?

— Медведя? Раньше так на рогатину, да топор или нож брали, а эти годы ружьем бьем. Вот только теперь решили и на медведя капканы делать. Видал наверху, на сеновале, у меня два стоят?

— А как же ими?

— Просто. Как и маленькими. Вот смотрите.— Свищев берет маленький капкан.— Устройство у всех одинаковое. Железный круг, на нем закреплены в одной оси две железные дуги. Сейчас они вместе. Вот я их раздвинул, они раскрыты, как пасть. Хлоп! И они схватились. Ударом они перебивают зверю кость, а шипы на железных дугах капкана, направленные остриями друг к другу, пронзают его шкуру и мясо. Не уйдешь никуда! Только на медвежьем капкане все огромное, тяжелое. Подумайте, такому зверю, как медведь, перешибить лапу, какая сила нужна! На медвежьем капкане

шипы в палец толщиной, дуга шириной в руку каждая. Силища в нем страшная...

— А зачем вам капканы? Еще неизвестно, набредет ли на него зверь. Ведь с ружьем верней.

—Ну, как сказать! Во-первых, нам тропы звериные известны, а насчет ружья не всегда это верно. Другой раз оружие не спасет человека, а только придает ему уверенность, — говорит он, разглядывая мой наган.

Свищев должен был вести лошадей в город военведу. Оставаться в избе с его женой было неудобно. Поэтому нас устроили на сеновале. Благодаря волкуевской агитации лошадей во-время собрать не успели, и Свищев в этот день случайно остался дома. Подходя к избе, мы не увидали в окнах света.

— Спят,— сказал Захаров.— Поздно уже. Придется без ужина лечь.

— Да. Это я виноват. Сказал хозяйке, что если долго не придем, чтобы не ждали.

Нас встретил пес, помахал хвостом, потерся о ногу, хотел подскочить, лизнуть в лицо, но, видимо, раздумав, зевнул сладко и с тяжелым вздохом растянулся у крыльца, на холодной земле. Мы прошли через двор к сеновалу. Наверх вела сколоченная из жердей лесенка длиной сажени полторы. Захаров замешкался внизу, а я полез наверх.

Ночь была хорошая, свежая. В разодранных клочьях облаков плавал сияющий месяц. Я залез наверх лестницы и сунул ногу вперед, в темный проход сеновала. Делал я это осторожно, так как пол настлан был плохо и можно было провалиться в щель. Вдруг нога уткнулась во что-то твердое. Словно удар, мелькнула в голове мысль, и в мгновение, рванувшись назад, я скатился с лестницы вниз.

— Капкан!

Рыжий месяц болтался в облаках, у крыльца вздыхал во сне пес, и внизу, под сеновалом, коровы жевали, шумно чавкая.

Еще один миг — и холодное железо ударило бы по ноге.. До Николаевска не довезут, а на Петровской Косе, — двое суток туда,— неумелая фельдшерица.

Где-то под затылок, у шеи, оторвался холодный шарик и каплей скатился вниз, по спине к поясу. Так вот он, холодный пот!

Это было мгновение.

Захаров уже стоял рядом. Он насупился и молчал. Захаров все время ожидал удара, и теперь вспомнилось, что часто он просыпался по ночам.

— Захаров!— говорю я шопотом.— Ты свети вон с той стороны, а я полезу по лестнице. Если кто есть там, твой свет будет отвлекать.

В полевой сумке мы всегда держим свечки.

Левой рукой хватаюсь за жерди, в правой наган.

— Кто там? — Считаю до трех: — Раз, два, три!

Молчание.

Захаров лезет ко мне. Свечка поднимается вверх, тухнет от ветра. Мы зажигаем ее, торопясь, ломая спички.

Сеновал пуст.

Перед входом стоит капкан — огромный, тяжелый, железный. Дуги раздвинуты, как пасть, и шипы торчат клыками. В стороне валяется другой, закрытый. Захаров берет палку. Бьет ею по капкану. Он судорожно вздрагивает, в мгновение, даже не видно, захлопывается. Пасть с треском дробит палку. Палка перебита в щепки. А могла быть нога! Захаров молчит. Он ждет.

— Волкуев,— шепчет Захаров.

— Н-не знаю. Возможно, от него это идет, но ставил — хозяин. Так?

— Верно.

У меня начинает трястись нога, и я ничего не могу с ней поделать. Какие-то мысли лезут в голову. Мне кажется, что меня торопят, гонят. Скорее, скорее! Куда? Что? Мысли скачут, и я не могу справиться с ними. Наконец одна поймана. Ответ! Но какой? Надо что-то сделать, но что? Что? Нога дрожит, и кажется даже, что каблуки стучат дробь о доски пола.

Бросаюсь вниз, бегу через двор, толкаю ногой пса.

— Пшшел!

Дверь. Дергаю. Закрыто. Стучу.

— Живей! Отворите!

Из избы доносится шебаршанье, скрип кровати. Хозяин кряхтит, шаркает босыми ногами по полу.

— Кто там?

— Отвори, — говорю уже спокойным, более чем спокойным, тихим голосом. — Это я. Живей!

Вхожу. Хозяин пытается зажечь лампу.

— Не надо. Собирайся и идем.

Свищев растерянно скребет спичкой по коробке. Спички

не горят. Хозяйка поднимается с постели, якобы сонная и удивленная.

А вот сейчас мы узнаем, чьих это рук дело!

— Ну! Одевайся. И чтоб сразу. Живо!

Свищев, торопясь, в темноте не попадая, сует ногу в сапог. Испугавшись, он не догадывается бросить спички. Они мешают ему, но он их держит в руке.

Наконец мы выходим. За нами хлопает дверь, и на плетне загорается отсвет огня: хозяйка зажгла лампу.

Хозяин трясется.

— Куда? Что вы? — говорит он. — Что случилось?

— Не разговаривай! Валяй вперед. На сеновал. Опоздал с вопросами.

Мы идем через двор. Хозяин — то ли от робости, то ли осмелев — начинает говорить.

Лестница.

— Лезь!

— Да вы что? Может, неудобно постелили? Скажите, сейчас велю жене постелить как следует.

— Лезь!

Свищев умолкает. Выглядывает месяц, я вижу, что хозяин позеленел. Может быть, от месяца? Свищев дрожит. Его обуял страх.

— Не полезу!— говорит он.— Не полезу!— И он трясет головой, как козел в огороде.

— Не полезешь? А ну, разом!— вытягиваю наган. Злобная сталь мушки револьвера, подпирает его бок, скребет ребра.— Не полезешь?

Свищев начинает плакать. Он плачет, как ребенок, глупо и громко всхлипывая.

«Гадина! Так, значит, знаешь, куда лезешь!»

— Не реви! Все равно не поможет. Лезь наверх,— говорю я.

Свищев лезет. Медленно, вздыхая, со стонами. Он не знает, что капкан закрыт.

Когда человек, оступившись, летит в пропасть — он умирает без страха. Он не знает, какой он делает шаг. Но когда человеку велят, приказывают сделать этот же шаг, когда он знает, что вот сейчас еще мгновение — и он сорвется вниз, — его обуревает страх. Говорят, что в такие минуты можно поседеть. Можно.

Свищев лезет. За ним, ступень за ступенью, лезу я, подпирая наганом его спину. Теперь я не тороплю его. Пускай взбирается медленно, оглядываясь. Пускай стонет и трясется. Чем

дольше он будет лезть, тем памятней для него окажется эта прогулка. Наконец последняя ступень. Свищев останавливается.

— Ну!

Снова наган толкает его. Вдруг сразу решаясь, он прыгает в темноту, вперед, валится на доски. Захаров чиркает спичку. Загорается свет. Захаров зажигает лампу «летучую мышь». Свет горит ярче, вспыхивает белое пламя, и я сую Свищева головой в капкан.

— Смотри, гадина!

Свищев видит, что капкан закрыт. Он начинает дрожать и плакать. Тело его судорожно вздрагивает, трясется, и сапоги носками, как грабли, гребут сено. Точно пьяный, Свищев улыбается и громко, давясь слезами, рыдает.

— Сволочь! Видишь — семь пуль! Из твоей дурацкой башки можно было бы сделать неплохое решето.

Свищев плачет. Огромный мужик вытирает мокрое от слез лицо. Дико!

— Пшшел вон! Вон! — кричу я не своим голосом. — Вон! Вон, стерва! — Мне хочется выть, реветь. Еще минута — и я наброшусь на Свищева. Но он вскакивает и падает за дверь, вниз...

. . . .

Это была долгая, самая долгая за всю экспедицию ночь.

Утром мы вошли в избу завтракать.

— Доброе утро!

— Доброе утро, доброе утро, — засуетилась хозяйка. А у самой в глазах тревога.

Свищев потащил молоко, творог, сметану к столу. На стол поставлены пышки, варенье, мед.

— Может быть, водочки выкушаете? — говорит Свищев.

— Нет, спасибо.

Мы с Захаровым пьем чай, едим хлеб с маслом, которые получили в интеграле, и, провожаемые встревоженными, недоуменными взглядами, уходим.

Почему Захаров убил змею

Ходили в Верхнее Власьево. Это километров пять вверх по реке Искай. Только отойдешь от селения — тайга, дикая, суровая.

«Вот между деревьями крадется дорога или тропинка и исчезает в лесных сумерках, — пишет Чехов. — Куда она



Свои легкие лодки рыбаки наполняют пойманной в невод рыбой.

идет? В тайный ли винокуренный завод, село ли, о существовании которого не слыхал еще ни исправник, ни заседатель, или, быть может, золотые прииски, открытые артелью бродяжек? И какою бесшабашною, обольстительною свободою веет от этой загадочной тропинки!»

Тропа идет в зимник колхоза Авры. А винокуренный завод давно сгнил, рухнул и заметен ветром, завален листвой.

Собрали верхневласьевцев. Стали писать. Один позабыл, как зовут его детей, и бежит за женой, чтобы справиться, другой не может вспомнить отчество своей жены.

— Фекла и Фекла! Чорт ее знает, как ее по отцу! Разве мы по отчеству называем? Кабы поповская дочь была, тогда да, а так не спрашиваем.

Народ тут многосемейный. Бабе пятьдесят лет, а она все рожает и рожает.

Перед нами колхозник. Борода. Степенен.

— Машка, Генка, Валя, Васька, Петр, Иннокентий, — перечисляет он.

— А седьмой — спрашиваю я.
— Какой седьмой?
— Как какой?! Семья девять человек. Ты, жена и семь детей.
— Ну, семь!
— А ты сказал шесть. Одного-то, седьмого, как звать?
— Машка, Генка, Валя, Васька... Чорт его знает!
— Гришка! — кричат со стороны. — Гришкой звать!
— Ну, пиши — Гришка, — говорит спокойно счастливый отец семейства. — Разве их всех упомнишь!

Верхнее Власьево переписываем в один день. Идем назад другим, правым берегом реки. Тут гористей, лес, сушь.

Работа двигается быстро, и мы довольны. Захаров начинает осваиваться с работой. Но все-таки похозяйственная карточка — основной бланк переписи — у него только в перспективе.

Захаров жалуется, что туземцам трудно дается русский язык.

Но Захаров хорошо знаком с политическими вопросами и экономикой. В самые неожиданные моменты он пытает меня теорией равновесия и прибавочной стоимостью.

Захаров пишет детским почерком и читает вслух, шевеля губами. Он говорит, что так лучше понимает. У него с собой томик речей Ленина, «Вопросы ленинизма» и небольшая брошюра Карла Радека «Чему учит Карл Маркс крестьян и колхозников». Кроме книг, у Захарова пачка старых, зачитанных газет с речами вождей. В свободные минуты он старательно разглаживает газетные листы, рассматривает фотографии вождей и любуется ими, будто это портреты его односельчан с родной Селемджи. Он читает, читает без конца эти речи. Иногда, когда нам нужна бумага для того, чтобы завернуть что-нибудь, Захаров самоотверженно, но с душевной болью расстается с какой-нибудь из газет. Потом в городе мы достали с ним все эти номера газет в редакции «Красного маяка», и еще многие другие газеты получил тогда Захаров. Жертва была вознаграждена.

Хорошо в лесу. Я иду. Прыгаю через ручьи, смеюсь. Вон идет стадо. Я продолжаю итти по дороге и вдруг вижу, что Захарова нет. Захаров исчез. Я кричу ему.

Он откликается откуда-то сбоку, из-за кустов. Захаров испугался стада. Он боится коров, хотя когда-то был пастухом. Правда, тогда он пас оленей.

Захаров мечтает о книгах, о курсах, учебе. Положительно, люди меняются!

Вспоминаю, что совсем недавно, в 1928 году, во Владивосток привезли одного удэгейца, известного охотника на тигров. В честь его общество охотников устроило в лучшей гостинице города специальный прием. Там же ему отвели хороший номер. Кончился банкет, и удэгеец вышел из зала. Потом его долго искали. Удэгейца нигде не было. Удэгеец пропал. Поиски продолжались всю ночь.

Утром внезапно он сам явился в правление общества. Оказывается, он вышел за город и устроился спать под ветвями деревьев в бору. Он не привык к домам и городу. Номер в «Золотом роге» его не прельстил, и он ушел к себе в лес.

Туземцы изменились за эти годы.

Захаров не в духе. Он молчалив и хмур. Он недоволен мной.

— Зачем ты так мягко обошелся со Свищевым? Надо было...

— Ты неправ, Захаров. Вопрос стоял так: ответь мы серьезно — Свищев и прочие были наказаны, а работу пришлось бы доделать кое-как. Ну, скажи, что нам сообщили бы рыбаки, если бы мы вызвали сюда из Николаевска народ?

— Значит, безнаказанно?

— Нет. Они получат по заслугам. Но надо иметь выдержку, работу сделаем.

— Неправильно! — сердится Захаров. — Надо было ответить.

У дороги лежит змея. Ее противное серо-желтое тело слилось с дорогой и камнями. Мы проходим мимо. Змея высовывает раздвоенный тонкий язычок, вертит им в воздухе, словно фокусник, и поблескивает черными точками маленьких глаз.

Мы проходим мимо. Вдруг Захаров останавливается, поднимает огромный камень и, сделав шаг назад, с размаху бьет змею.

— Вот так! — говорит он удовлетворенно, глядя, как в последнем, предсмертном извиве замер хвост гада, высунувшийся из-под камня.

— Зачем это, Захаров? Ведь она нас не тронула, и мы прошли спокойно!

— Змею надо уничтожать уже потому, что она змея,— говорит Захаров серьезно.— Сегодня она не тронула нас, и мы прошли, но завтра этой же дорогой пойдет другой человек, и змея ужалит его, и он умрет...

О вожжах, предколхоза, детях и администраторах

Перепись во Власьеве кончена. Нам удалось провести ее достаточно быстро, хотя обстановка была далеко не благоприятная и сложная. Потом, при разработке материалов переписи, будет очень интересно сравнить показатели и итоги бланков по русским и гилякским хозяйствам, тем более, что они находятся на одной общей промысловой территории. За это время Захаров овладел первой ступенью статистической премудрости: он заполняет формуляр № 1 — демографический лист — и старательно приглядывается к моей работе над основным бланком переписи — формуляром № 2 — по хозяйственной карточке и колхозному бланку.

Теперь мы отправимся назад — на Петровскую Косу, в стойбище Иски. Перед от'ездом встречаемся с приехавшим из города председателем колхоза Логачевым.

Он говорит о том, о сем, о планах, о том, что много раз обращался в город с жалобой на Волкуевых, и т. д.

Мы возражаем. Логачев неплохой работник. Но самого главного у него нет. Он работает почти один. Где люди, на которых он опирается? Люди есть. Их много. Но их надо об'единить, организовать. Надо, чтобы они заговорили. Надо, чтобы из них вышли два-три наиболее напористых, вдумчивых...

Логачев — предколхоза. Он любит акты и отношения. Это его слабая сторона. Он думает, что должность определяет выполнение распоряжений. Он отдает эти распоряжения. Он хозяйничает. Он хочет много сделать. Но кулаки выступают организованно, действуют «тихой сапой», не подкопаешься, придраться не к чему. И в результате получается так, как хотят они. А Логачев остается председателем колхоза. И они не возражают. Тем лучше!

— Знаешь, Захаров,— говорю я, — в Москве много бульваров. Там в хорошие летние дни детей катают на осликах. Дети сидят в маленьких хорошеньких колясочках, держат вожжи и изо всех сил «правят» ими. Ослики ходят по кругу, и дети радуются тому, что они управляют экипажем... А сбоку, у морды ослика, незаметный идет его хозяин, тот, что получает по пятаку за круг, и ведет ослика на поводу...

— Сколько еще таких администраторов, которые, сидя в своих колясочках-кабинетах, держат вожжи, строчат приказы и, сочиняя акты, «управляют» изо всех сил...

— Когда ребенок совершает поступки, свойственные

взрослым,— это хорошо. Человек растет. Но когда взрослый становится ребенком...

— Да, — соглашается Захаров, — такие вожжи правят не в социализм!

Через залив Счастья

Едем через залив Счастья, назад на Петровскую Косу, в стойбище Иски. Наша лодка легко скользит по воде. Минуем мыс Орлова. До стойбища еще километров двенадцать, которые мы легко одолеем за два-три часа.

Отлив, быстрый отлив. Вода несет нас прямо к Петровской Косе. Мы идем «двойной тягой» — веслами и отливом. Мелко. Фута два-три. Все время встречаются лайды. Их надо замечать издали, иначе налетишь и не слезешь.

Наконец с трудом мы выходим на фарватер. Это иссине-черная, всклокоченная пеной дорога. Края ее отмечены пеной, точно барьером. Нас тащит огромная сила отлива, и мы несемся, ускоряя ее быстроту веслами. Рулить трудно. Вода вырывает из рук рулевое весло. Нас качает все сильней и сильней. Мы летим по фарватеру, как будто хворостинка по реке перед водопадом. Кругом лодки из воды появляются сказочными рифами морские травы. Они растут на дне залива, на лайдах. Поднимаются травы, и вслед за ними серыми черточками растут сами лайды — вначале маленькие бугорки над водой, а потом огромные серо-песчаные острова. На острова садятся птицы, и острова приобретают цвет птичьих перьев — такое множество птиц гнездится на них. В заливе плавают белые острова чаек и серые острова куликов.

Отлив идет. Мы минуем множество еще незаселенных птицами лайд. Это взмокшая пустыня ила и песка. Наконец подходим к берегу. Петровская Коса. Далеко в тумане виден Меньшиков мыс. Мы идем вдоль берега. За небольшим мыском стойбище Иски. Но обогнуть мыс мы не можем. Лодку крутит. Она не слушается руля, ее бросает назад, вертит, вертит без конца.

Это водоворот.

— Мы пристанем тут, через мысок можно пройти пешком.

Выходим. Вытаскиваем на берег лодку. Взбираемся на мыс.

Перед нами, утопая в оранжевых лучах солнца, встали черные силуэты стойбища.



В гилякском стойбище.

Глава пятая

В СТОЙБИЩЕ НАРОДА НИБАХ

Хурк

— Добрый день, друзья!

Две смуглых женщины оборачиваются и, не отвечая на наши приветствия, не торопясь, спокойно разглядывают пришельцев.

— Добрый день! — повторяем мы улыбаясь.

Мы сваливаем с плеч наши рюкзаки и прорезиненные мешки.

Мы в доме Хурка.

Сам хозяин ушел на охоту. Придет скоро. Пока находимся в обществе двух его жен и двух детей. Жены, видимо, живут в ладу.

Первая жена Хурка — Псарка, высокая, красивая женщина. У нее гладкие смоляные волосы, заплетенные в тугую длинную косу. Большие черные миндалевидные глаза. Лицо ее задумчиво, руки удивляют тонкими пальцами и розовыми ногтями. У нее восхитительный мальчик Пуртин, двух лет, в пестром наряде, в шапочке с перьями. Сын похож на мать. Вторая жена некрасива. Ее пышные волосы торчат космами, на щеках, скуластых и широких, яркий румянец. Ее нельзя назвать толстой, но и изяществом она не блещет. Она моложе первой жены. У нее такой же, как и она, румяный мальчик Теньтин, которому недавно минуло полтора года.

Только сейчас они поели черной ягоды сиксы и сырого мяса морского зверя белухи. Вернее, не мясо, а хрящи плавников белухи.

Пытаемся заговорить. Несмотря на наши неоднократные вопросы, жены лишь шопотом сообщают, что хозяина нет. Больше ничего у них добиться не удается. Оказывается, разговаривать с посторонними мужчинами женщинам неприлично. Никогда гилякская молодежь — девушки и юноши — не встречаются, чтобы поговорить, поиграть. Это недопустимо. Кроме того для члена каждого рода существуют определенные классы лиц, с которыми говорить воспрещается (братья и сестры всех степеней родства, мать и тетки жены).

Через некоторое время в дом пришли гиляки посмотреть на нас, узнать, кто мы и зачем приехали.

В избе сушится юкола, и стоит страшная вонь. В углах составлены ружья, висят кухлянки — шубы из оленьих шкур с капором и рукавицами вместе. Бродят щенки. Взрослых собак гонят вон, да они и сами не посмеют зайти в дом. Дикие, не отзывающиеся на обычное «ка-ка», они ждут у дверей редкого куска, брошенного на улицу хозяйской рукой.

Неслышно, склонив при входе голову, появился человек. Войдя, выпрямился и на мгновение встал в дверях.

Высокий, мускулистый, с кошачьей, гибкой фигурой, стоял он, спокойный и задумчивый. Черные, отливающие синевой волосы были туго приглажены и стянуты, сплетены в длинную косу. Матово-бронзовое лицо с огромными черными глазами, длинными бровями и пушистыми ресницами, небольшие черные усы, тонкие морщины у глаз, немного хищный нос, ломаная линия подбородка, и резкий контур губ запоминались сразу и заставляли любоваться собою.

Вся его одежда была расшита разноцветными узорами. Цветной пояс крепко охватывал его тонкий стан, а из серебристых нерпичьих торбазов, напоминающих мокассины индейцев, высовывались прикрепленные ремешками к поясу высокие «пань» — стеганые наколенники из черной материи, обшитые яркими — красными, зелеными, синими и белыми — лентами. Из-за плеча его выглядывала вороненая сталь двухстволки, а в руках болтались, свесив головы и закрыв глаза, кулики и дикие утки.

Монтецумо Ястребиный Коготь?

Незнакомец молча кинул дичь в угол и, заботливо повесив ружье на стену, не здороваясь, сел на невысокие нары. Одна из жен немедленно встала, поставила перед ним столик на крошечных ножках, чашку с белушьими плавниками, сиксу, плошку с топленым нерпичьим жиром, а другая в это время раздувала огонь в железной печке и ставила чугунок для дичи. Вода пролилась на печь, свернулась шипящими шариками. Пар поднимался легкими струйками вверх, таял в воздухе, и ветер уже гудел в трубе.

Пришедший захватил рукой скользкий, белый, с прожилками, точно мрамор, хрящ, не торопясь положил в рот, запил его растопленным жиром нерпы, зачерпнутым ложечкой из плошки, и с аппетитом, молча, не торопясь, принялся жевать...

Хурк вернулся домой.

Страницы о народе Нибах

Кто такие гиляки? Откуда пришел и когда появился в этих местах этот народ?

Происхождение гиляков неизвестно. Былые предположения, относившие их к манчжурам и монголам, оказались несостоятельными. Многие исследователи (Шренк, Арсеньев и др.) относят их к палеазиатам, то есть к загадочным «краевым» народам Азии, подобно айнам, камчадалам, юкагирам и чукчам.

Народоволец Штернберг, блестяще изучивший гиляков, относит их к народам североамериканского происхождения. Отмечая особенность языка гиляков (гиляцкий язык изобилует согласными и шипящим звуками, тогда как язык гиляцких соседей — тунгусов и айнов — отличается, наоборот, полногласием, он доказывал возможность их родства с североамериканскими индейцами. Последними исследованиями в области так называемых «кровяных групп» доказана правильность предположений Штернберга, то есть, что гиляки родственны североамериканским индейцам.

Гиляки в виде немногочисленного племени живут по обоим берегам Амура, в низовьях его, примерно начиная от Софийска, затем по лиману, по побережью Охотского моря и в северной части Сахалина.

Литература о гиляках невелика. Основной и наиболее значительной в свое время считалась интереснейшая работа Шренка «Инородцы Амурского края». Однако появившаяся в 1903—1904 годах в «Этнографическом вестнике» работа Штернберга «Семья и род сахалинских гиляков» коренным образом изменила установившиеся взгляды на этот народ.

Шренк утверждал, что когда-то родиной гиляков был Сахалин и что впоследствии они перешли оттуда на материк, теснимые с юга айнами, которые двигались, теснимые в свою очередь японцами. Штернберг доказал обратное. Гиляки пришли на Сахалин с материка.

Что касается самого названия «гиляки», то, видимо, оно произошло от китайского слова «киль», «киленг», которым называли туземцев низовьев Амура. Сами гиляки называют себя Ниб(а)х, что значит: «человек», «люди».

Основная пища гиляков — юкола, сушеная рыба. Из морских зверей гиляки едят нерпу, сивуча, белуху и вообще всякое мясо, по утверждению «историков», кроме крысиного.

Основное занятие гиляков — рыбная ловля, морской зверобойный и охотничий промысел.

Гиляки жили в юртах, построенных на столбах и землян-

ках, со стенами из накатника, обваленными снаружи землей.

Так было раньше. Теперь гиляки живут иначе. Вместо землянок у них обыкновенные дома, похожие на русские избы. Внутри по стенам устроены нары. У стен на них лежат стопками скатанные одеяла.

Есть еще дома на ножках, сваях. Стоят такие дома-сараи на небольших, метра в полтора, пнях. У некоторых из них подрезаны корни, и торчат они из земли, как пальцы чудовищной руки. Везде висит красная, с серебряной чешуей кета и горбуша. У крыш домов, на чердаках висит пожелтевшая кета — это юкола, корм для людей и собак.

В домах живут обычно по нескольку семейств — два-три и больше. Живут грязно. Из-за бесконечного количества насекомых и крыс прибывание в доме летом становится совершенно невыносимым. Гиляки перебираются тогда на чердак или, если стойбище полукочевое, в летнее жилье.

Большая часть гиляков ведет полукочевой образ жизни. Имея постоянный зимник в тайге, защищенный от ветров, гиляки с весны укочевывают к месту промысла на побережье для лова рыбы и боя морского зверя, где у них также имеются жилые постройки.

Товарообмен с богами[1]

Гиляки — анимисты. Они обожествляют все явления природы. Представляя себе стихии и силы природы божественными, гиляки в то же время верят, что каждая стихия имеет своего хозяина — Нибаха, который и есть бог — «Кур».

Эти Нибахи не только по образу и подобию своему, но даже по одеянию настоящие гиляки (припомним, что Нибах значит также гиляк).

Подобно гиляку Нибахи имеют детей, быть может, их существуют целые роды, и подобно гиляку наконец они смертны. Бог тайги и гор — хозяин и отец всех зверей лесных — называется Паль-нибах. Бог моря — отец и хозяин всего живущего в нем — называется Толлес. Толль-нибах и есть самое могущественнейшее божество гиляка. Он посылает болезни и исцеления. Солнце, луна, звезды — все это божества гиляка, и первые два — супруги: солнце — жена, луна — муж. «Разве ты не видел, — уверенно говорил мне гиляк, — Нибаха на луне, когда она бывает большая? Он совсем гиляк!»

---

[1] Эта и следующая глава «Род» написаны по материалам работ Штернберга.

Градация божеств основана на количестве благодеяний, получаемых человеком от каждого из них. Поэтому вполне понятно, что бог огня у гиляков — «мало-мало бог», тогда как Толль-нибах — самый главный и сильнейший. Вообще у гиляков отношения с богами, не в пример другим народам, чисто деловые.

«Это они дают ему соболей, лисиц, медведей, рыбу, нерпу и прочее. Соболи и медведи — это такая же собственность Паль-нибаха или рыба и нерпа такая же собственность Толль-нибаха, как нартовые собаки гиляка. Из этой своей собственности боги специально уделяют пай человеку. Недаром рыба является аккуратно в определенные сроки, недаром соболь одевается в дорогую шубу в сезон охоты, недаром лебеди, гуси, утки теряют летом перо и становятся легкой добычей гиляка. Все это боги делают для человека. Понятно, что гиляки не должны оставаться в долгу перед своими благодетелями. И вот они дают пай богам, всем тем, чем они сами пользуются: саранкой, корнями, табаком, сахаром и т. д.

Жертвоприношение — это обмен паями с Нибахами. Вот почему никогда жертва не может состоять из тех же самых предметов, за которые жертва приносится. Зачем богу то, что у него есть в изобилии? Поэтому среди блюд, приносимых Толлесу в благодарность за нерпу, последняя не фигурирует, хотя она составляет непременное блюдо самих гиляков в вечер жертвоприношения.

Не противоречит принципу обмена в жертвоприношениях тот факт, что гиляки дают хозяину моря кости рыбы, голову, глаза нерпы. Дело об'ясняется очень просто. Мясо бог дает человеку, а кости возвращаются ему обратно как творческий элемент будущих рыб и нерп.

Есть огромное различие между религиозным настроением гиляка и религиозным настроением не только христианина, еврея, мусульманина, но и буддиста. «Сокрушение сердца», стремление души к божеству в нашем смысле — все это для гиляка непонятные вещи. Для него в религии все просто и ясно! Ни сомнений, ни страданий. Ему непонятен религиозный экстаз. «Шаманизм с его экстазами, мне кажется, заимствованное явление, — пишет Штернберг.— Молитвы гиляков простые и ясные, как их верование. «Кур, пионгухна!» (О, боже, пожалуйста!) — вот чем ограничивается гиляк, обращаясь за чем-нибудь к своему богу.

Человеческая жизнь не прекращается смертью. Там, за пламенем костра, есть другой свет, другая земля, где гиляки вновь живут с теми же потребностями, с теми же представ-

лениями. Только бедный человек будет там богат, а богач беден».

Из попыток обратить гиляков в лоно христианской церкви ничего не вышло. Гиляки уклонялись, оставаясь верными своей примитивной, но удобной религии. Адмирал Невельской в своих записках рассказывает смешной эпизод. Гиляки не хотели креститься. Неожиданно для адмирала некоторые из них стали приходить сами. Наконец, когда несколько гиляков были пойманы при вторичной попытке креститься, выяснилось, что истинная причина столь ревностной жажды вкусить святых таинств была та, что гиляки, получив при крещении в подарок рубашку, приходили креститься вторично, чтобы получить вторую!

Род

У гиляков до сих пор сохранились пережитки родового быта. Если спросить любого гиляка, почему он считает таких-то людей своими сородичами, то неизменно получишь один ответ: «Как же — у нас один тесть, зять один, огонь один, горный человек, морской человек, небесный человек, земной человек — один, медведь один, чорт один, вира один, грех один».

Таким образом гиляцкий род — союз родственников по мужской линии, берущих жен из другого, определенного рода, отдающих своих женщин в третий и связанных между собою целым рядом взаимных прав и обязанностей.

Общность родового огня — символ родового единства. Как у всех первобытных народов, и у гиляков огонь — родовое божество.

Только сородичи имеют право разводить огонь на очаге сородича. Только сородич имеет право выносить огонь из юрты. Чужеродный, закурив у родового очага, не может выходить из юрты, не докурив своей трубки.

Гиляки, ставшие любимцами «хозяина» той или другой стихии, после смерти сейчас же переходят в род соответствующего «хозяина» и конечно специально благодетельствуют своим сородичам, посылая им зверей лесных либо рыбу и морских животных. И когда гиляк говорит о каком-нибудь «горном» или тому подобном человеке, который его кормит, он имеет в виду своего сородича, который на памяти его или самое больше его отца или деда описанными путями очутился среди сонма «хозяев». Век такого избранника не долог (самое большее два поколения), и часто не успевают приобщить

к богам одного сородича, как за ним следует другой, третий и т. д.

Медведь один. Общая обязанность сородичей — участвовать в откармливании медведя и в медвежьих праздниках как по случаю убиения домашнего медведя, так и в случае добычи медведя лесного.

Чорт один, то есть общий враг в лице умершего сородича, убитого чужеродца и т. п. Сородич, озлобленный при жизни и разошедшийся с родом, не отомщенный или не получивший почестей похоронного ритуала, не попавший поэтому в «селение мертвых», может перейти в род злых божеств или просто на свой страх и риск всячески мстить роду. То же может быть и со стороны обиженного чужеродца. Борьба с такими врагами такая же насущная потребность для всех сородичей, как и ублаготворение родовых божеств-покровителей. Возникают таким образом общие обязанности в вознаграждении шамана за его труды и опасности в борьбе с подобными врагами или общие расходы и труды по ублаготворению, одариванию, отомщению, уплате.

Вира, штраф, выкуп в обширном смысле — круговая порука всего рода против всякого посягательства со стороны чужеродца на право сородича и обратно: за похищенную женщину, за осквернение святыни, порчу очага, нарушение табу.

В центре всего этого института лежит принцип кровавой мести, ответа жизнью за жизнь или за попранную честь. Как у всех почти первобытных народов, убийство внутри рода у гиляков остается безнаказанным. Род не может проливать крови своего сородича, которая есть кровь родоначальника. Это не только принцип религии, но и требование самосохранения, категорический императив существования самого рода. Сила последнего — в его численности и внутреннем мире. Между тем каждый случай мести внутри рода неминуемо стал бы поводом к новой мести со стороны ближайших родственников наказанного и привел бы таким образом к нескончаемой внутренней борьбе, которая в конце концов завершилась бы физическим и моральным разрушением рода. Впрочем, убийство и всякое серьезное нарушение прав и законов со стороны сородича не совсем остается безнаказанным: фактически оно влечет за собой смерть политическую, так как преступник вынужден бывает расстаться со своим родом и уйти в отдаленное селение, лишаясь не только всех благ родового союза при жизни, но еще более важных после смерти, так как только сородичам разрешается совершать акт сожже-

ния покойника. Но убийства внутри рода крайне редки. Другое дело между чужеродными. Тут принцип неумолим: кости сородича должны быть «подняты».

И только в крайнем случае кровавое искупление может быть заменено выкупом. И что еще более поучительно—месть обязательна даже по отношению к животным. Месть медведю, задравшему человека, не менее яростна, чем по отношению к убийце-человеку. Лишь донеслась весть о гибели человека в борьбе с медведем, все взрослое население устремляется в тайгу, чтобы по свежим следам настигнуть «убийцу». Если не удалось накрыть настоящего виновника, необходимо убить, по крайней мере, трех других медведей, — его сородичей.

Так как душа убитого, как и всякая душа человеческая, может существовать не более трех поколений, то с третьим поколением обязанности мести прекращаются. Вот почему ярость мстителей никогда не доходит до истребления целого рода убийцы, ограничиваясь одним или двумя-тремя его сородичами. Тщательно избегают убийства женщин и воздерживаются от посягательства на имущество.

Как ни сложна родовая жизнь, род не знает никаких установленных властей. Патриархальная власть абсолютно отсутствует.

Цивилизованному человеку трудно даже себе представить, какое чувство равенства и уважения царит здесь по отношению к молодежи. Во главе большой семьи с общим хозяйством стоят вовсе не обязательно старшие по летам, а, наоборот, чаще всего молодые, завоевавшие свой авторитет деловитостью, усердием, оборотливостью, личным талантом. Старики авторитетны лишь в вопросах специальных как хранители традиций, знатоки обрядов и истории семейно-родовых отношений. Коммунизм и индивидуализм сочетаются без всяких трений.

Преобладающая форма труда — индивидуальная, или же самое простое сотрудничество. Все дело так просто, что не может быть и речи о хозяевах и работниках: каждый исполняет то, к чему он способен. аЧсть добычи уделяют даже не принимавшим участия в охоте, ибо разве родовые боги дают ее только одним, а не всем членам рода?

Вот умер семейный сородич. Необходимо обеспечить его семью, наследника. Нет судей, нет властей, но через некоторое время после погребения покойника сойдутся ближайшие сородичи и решат все вопросы.

Убит сородич. Война неминуема. Нет постоянного вождя, нет старейшего и нет выборов. Естественный вождь давно известен и всеми признан: это самый храбрый и удачливый из сородичей. Этот так называемый хозяин. Умер хозяин — и всякий знает, кто может его заменить. Возник гражданский спор между сородичами. Нет установленных людей, которые официально решают споры и тяжбы. Если ответчик отказался добровольно выполнить свое обязательство, истец, не задумываясь, отцепит собаку от запряжки или полезет в амбар, чтобы отобрать себе вещь, равноценную иску. В других случаях достаточно обиженному обратиться к нескольким авторитетным лицам — «хозяевам» из сородичей обидчика — и их решение, принятое большинством голосов, приобретает силу приговора.

«Хозяин» — это человек, выдающийся благодаря своим исключительным индивидуальным достоинствам. Вокруг него группируется семья. В его доме каждый может хорошо поесть и полакомиться. Его помощь всегда ценна. Но у гиляков из таких лиц не вырабатываются, как это мы видим у других племен, постоянные старейшины и военачальники. Хозяева никогда не претендуют на что-либо подобное. Их роль слишком еще незначительна по сравнению со сложными функциями рода, механизм жизни которого зиждется на равноценности и инициативе цельной личности каждого. Влияние их поэтому чисто фактическое, моральное, между ним и беднейшим из его сородичей нет еще никакой пропасти ни в умственном, ни в экономическом отношении, и в то же время над всем доминирует высшая братская связь — род.

В настоящее время значение рода стало значительно меньше, и эти пережитки исчезают на наших глазах. Однако остатки родовых институтов дают себя чувствовать и по сей день в виде кровавой мести, обязанности членов рода в выкупе за совершение сородичами преступлений, редких рецидивов калыма, культа медведя, культа духов, хозяев мест, культа предков и культа хозяина огня.

Любопытно, что в связи с родовым бытом гиляки скорее, нежели русский крестьянин, восприняли идею коллективизации, пользующуюся у них огромной популярностью.

Колхоз как наиболее совершенная форма организации вполне понятна гиляку и не требует никакой особой мотивации. «Мы всегда работали вместе и жили вместе», — об'яснил мне старик-комчар из стойбища Виск-во. — Так жить лучше, легче».



Гилякская девушка.

Семья

Чехов напрасно во всем доверял Шренку. Блестящий ученый и знаток этнографии оказался профаном в области понимания психологии гиляков. Человек, перед эрудицией которого отступал не один убеленный сединами противник, сна-

совал перед той самой «неумытой азиатской» гилячкой, которой он посвятил не одну страницу своей монографии.

Шренк не понял, что гиляки умеют любить.

«Презрение к женщине, — пишет Чехов, — как к низкому существу доходит у гиляка до такой степени, что в сфере женского вопроса он не считает предосудительным даже рабство в прямом и грубом смысле этого слова. По свидетельству Шренка, гиляки часто привозят с собой аинских женщин в качестве рабынь. Очевидно, женщина составляет у них такой же предмет торговли, как табак и даба».

Все это неверно. Рабство и деспотизм претят родовому быту. Внешняя беспорядочность и простота половых отношений обманчивы. Ни Шренк, ни Чехов не знали об открытиях Штернберга.

«Я открыл у них, — пишет последний, — родственную терминологию и семейно-родовые права, тождественные таковым же у ирокезов и на Сандвичевых островах, словом, остатки той формы, на которой Морган основал свою теорию и которая служила исходным пунктом брошюры Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства».

Открытие Штернберга заполнило пробел в научной литературе по первобытным общественным отношениям, не имевшей никаких данных о социальном строе у народов северо-восточной Азии. Этих данных не было у Моргана, и он лишь гениально догадывался о существовании классификаторской системы родства у приамурских народов как промежуточного звена между народами Индии и Северной Америки.

Штернберг установил, что в области социальной структуры для гиляков наиболее характерным является наличие следов группового брака. Суть группового брака заключается в том, что каждый человек помимо своего индивидуального супруга может иметь половые сношения с целой категорией лиц, но строго определенные системой родовых норм и запретов. Иными словами, мужчины находятся в браке со всеми женами своих братьев и со всеми сестрами своей жены. Это означает, если рассматривать с женской стороны это явление, что жена в праве вступать в половые сношения с братьями мужа и мужьями своих сестер. Но стройная система родовых норм и запретов строго и жестко определяет и охраняет взаимоотношения полов в определенных границах.

В 1892 году Фридрих Энгельс обратил внимание на значительность открытия Штернберга и в своей статье дал оценку этому явлению: «Этот групповой брак выглядит далеко не так ужасно, как его рисует себе привыкшая к проституции и

домам терпимости фантазия наших филистеров; живущие в групповом браке отнюдь не ведут той развратной жизни, которую эти филистеры ведут под покровом тайны. Эта форма брака, по крайней мере во встречающихся еще теперь случаях, на практике отличается от непорочного парного брака или многоженства только тем, что дозволяются нравами половые сношения в ряде таких случаев, которые при других условиях влекут за собой строгое наказание...»

То обстоятельство, что действительное использование этих прав постепенно вымирает, доказывает только, что самая форма группового брака осуждена давно на вымирание, как это подтверждается и редкостью следов его существования.

О русских женщинах, продающих себя за деньги, гилячки отзываются с чрезвычайным презрением.

«Там, откуда ты произошел, — то есть из рода своей матери, — говорит гиляк, — нужно брать жен». Это значит, что если один род берет себе жен из другого рода, то женщины первого не могут выходить замуж за мужчин второго рода, почему, например, достаточно одному человеку из рода А, положим, взять жену из чужого рода, чтобы для представителя этого последнего все женщины рода А стали запретными.

Наряду с широкой половой свободой чувство любви играет все же большую роль в жизни гиляка. Серьезные протесты родителей, протесты активные, безжалостные, встречает только любовь к человеку запретной категории. В таких случаях сами родители подсказывают детям самоубийство. Тогда влюбленные отправляются в лес и вешаются рядом на двух деревьях. Перед самоубийством они поют друг другу песни, воспевают свой путь в загробный мир, где никто не будет препятствовать их любви.

«По содержанию своему любовь гиляков ничем не отличается от любви в цивилизованном обществе, — пишет Штернберг. — Грубая сексуальность в ней совершенно отсутствует. В любви этого примитивного народа мы находим всю гамму этого общечеловеческого чувства — от самых нежных тонов поэтической сентиментальности и тихой любовной тоски до самых бурных порывов героической страсти, не останавливающейся ни перед какими препятствиями, не отступающей перед мужественной решимостью расстаться с жизнью».

О роли любви в жизни гиляков можно судить по обилию песенного материала. Не всякий человек может рассказать какую-нибудь сказку или поэму, но любовные песни всякий знает. В любви гиляков песня играет совершенно исключи-

тельную роль. Песня — язык влюбленных. При свидании любовники, вместо разговоров, поют друг другу импровизированные песни и, если не имеют возможности встретиться, посылают друг другу, через третье лицо, сочиненные песни.

Знакомство

Председатель сельсовета Ифк встречает нас равнодушно.

— Интеграль норма когда давать будет? — говорит он лениво и не поднимаясь.

Ифк лежит, облокотившись на стопку одеял. Обе жены его копошатся около очага. Ифка не интересует перепись. Он интересуется в данный момент только нормой.

— Шовинизм! — сразу козыряет он. — Вот что! — Ифк знает, что такое шовинизм. — Русский всю норму получаль — гиляка нет!

Осторожно развертывая и разглаживая мое удостоверение, добавляет:

— Типерича все одинаковые люди — русски, гиляка. Типерича японские люди нет. Не старый режим!

Ифк своей убежденностью и спокойствием приводит нас в восторг. У него грустные, задумчивые глаза и тонкое лицо. Ифк умен и хитер. Он долго и сосредоточенно разглядывает документ и медленно бродит по строчкам своим тонким пальцем.

— Дотошный! — И мы переглядываемся с Захаровым.

Вот уже в третий рейс поплыл его палец по бумажке.

— На, читай! — говорит Ифк, вздыхая, и протягивает мне удостоверение.

— Читать? Так ты читал — зачем же?

— Нет, читай. Так лючче будет. — Ифк вздыхает и, закрыв глаза, с удовольствием слушает длинные словесные пируэты нашего бюрократического языка. Ифк «мало-мало» грамотный. Он умеет писать только свою фамилию. Вернее, он ее рисует. Но сразу признаться в этом он не хочет. Ифку нравится, что удостоверение на большом листе, с красным штампом, что в нем много написано и оно украшено большими подписями и двумя печатями.

— Сибко хоросо! — говорит Ифк. — Больсой фарт тебе будет!

Гиляки усвоили слово «фарт» от каторжан.

Получили сведения о стойбище. В Исках находится авринский сельсовет. В него входит стойбище Авры, что на острове Удд. В Исках же гиляки об'единены в колхоз «Заря»,

Единоличников нет. План 1933 года — шестьсот центнеров осенней кеты и сто пятнадцать центнеров морского зверя. Заполняем общие бланки. Решаем завтра с утра созвать собрание. Завтра начинаем перепись хозяйств.

Идем бродить по стойбищу.

Везде нас встречает надрывный собачий лай. Псы гуляют возле домов, толпами бродят за ними щенки. Злые псы посажены на цепи около приколов, вбитых возле домов. Они остервенело рвутся и прыгают, стараясь оборвать цепи. Это ездовые собаки.

Мы ходим по стойбищу причудливыми вензелями: псов надо обходить.

Гиляки смеются и весело и просто заговаривают с нами. Их нисколько не удивляет, что приехал человек из Москвы. У них нет чинопочитания и робости перед незнакомцами.

Возле домов стоят «вешалы». Это столбы с перекладинами четырехугольником. На них кладут шесты, увешанные распластанной рыбой — кетой, горбушей, частиком. Рыба сушится, и получается юкола.

Издали красная рыба, пронзаемая солнечными лучами, с серебристой кожей, напоминает ослепительные коралловые нити. Растянутые на широких рамах, сушатся под солнцем шкуры сивуча и нерпы. По стойбищу разносится запах рыбы и моря. Вдали слышны легкие всплески выстрелов. Кто-то невидимый тянет заунывную песню. Прислоненные к стенам стоят остроги. Молодые ребята играют с зверьком. Они поймали бурундука. Полосатый ловкий звереныш привязан на веревку. Гиляки из луков целятся в бурундука, и каждый, враз с остальными отпускает тетиву. Солнце уходит за горы. Серые тени ложатся на землю. От них вырастают дома. Странный, непривычный вид вешал и стойбища кажется загадочным — точно мы бродим по какому-то иному миру, в неведомой стране, будто незримая сила перенесла нас в другие века, в иную жизнь...

Когда мало знаешь, то начинаешь придавать вещам большее значение, нежели они этого заслуживают.

Вечером странный шум заставил нас насторожиться. Около половины восьмого раздался вдруг дикий вой. Страшные голоса неслись снаружи в дом. «Что-то произошло», решил я. Выскочил из дома, придерживая рукой наган. Огромные, свирепые псы сидя, стоя, лежа, подняв морды кверху, исступленно выли. Такого воя и вообще такого зрелища нам видеть не доводилось. Один пес у дома зло скосил на меня глаза. Из его оттопыренных губ и клыкастой пасти неслись

такие звуки, что становилось жутко. Все стойбище выло. Оказывается, это обычное явление. Как волки, воют по вечерам псы в стойбищах.

Беседа

— Ты чего делять будесь? — спрашивает Чхар Чхныр. — Писи-писи?

— А вот сейчас расскажу.

Мы сидим на бревнах. Вокруг нас уселись гиляки. Они курят, смеются и, видимо, строят предположения о цели нашего прибытия. Старики серьезны и неподвижны. Они сосредоточенно курят трубки, не спуская глаз с их медных чашечек, закрепленных на тоненьких, дорогих деревянных и каменных мундштуках. Кажется, что они гипнотизируют трубки и дым, вздымающийся легкой сизой струйкой кверху. Молодежь, шумливая и веселая, пытается затеять борьбу, но Ифк что-то говорит им, и они утихают.

— Все собрались?

— Все.

— Ну, тогда давайте начнем.

Наступает тишина. Смешливый, с пышной косой Ядан, огромный, атлетического сложения, похожий лицом на девушку, смотрит мне прямо в рот, будто должна сейчас из него вылететь птица.

— Слышали, город есть такой, далеко отсюда, самый главный город — Москва?

— Слышали.

— Ну вот. А знаете вы, как в Москве живут?

— Сибко хоросо, наверное, живут. Богато! Важный город!

— Нет. Я не о том. Какие дома в Москве, кто живет, чем занимается, что делают?

— Не знаем.

— А Москва хотя и знает о том, как живут гиляки, но знает мало. Хочет больше знать. Хочет все знать.

— Зачем?

— Как же! Раньше гиляки одну юколу ели, нерпичье сало, а теперь норму дают.

— Не дают! Вот уже неделю, как опоздали. Русски полючиль, а гилякски не дают.

— Шовинизм, — повторяет Ифк.

— Это не то, товарищи. Опоздали с выдачей нормы потому, что шторм был. Часть груза погибла. Сегодня-завтра — мне известно — придет халка[1], полная всякого груза.

[1] Халка — небольшое двухмачтовое парусное судно корейского типа.



—Ты чего делять будесь? — спрашивает Чхар Чхныр. — Пиши-пиши?

— Полная?
— Придет?
— Тогда хоросо. Говори дальше.
— Раньше, — снова повторяю я, — гиляки одну юколу кушали, а теперь норму дают: мука, масло, сахар, крупа, мануфактура, табак... Хорошую норму дают
— Дают.
— Так мы хотим, чтобы еще лучше была.
— О-о-о!
— Москва хочет знать все, как живут гиляки, много ли болеют, сколько померло, что сами делают, что покупают, чего хватает, чего нехватает. Вот мы и приехали к вам узнать и записать все. Иначе забудем, если не запишем. А другие товарищи в другие стойбища поехали. Об'едем всех гиляков,

сосчитаем, сколько им всем табаку, сахара, муки, дели[1], пороху нужно и сколько они получили. Сразу станет ясно, сколько еще прислать надо.

— Надо, — повторяют гиляки убежденно вслед за мной.

— Узнаем, сколько у гиляков собак, сколько юколы собакам на год надо...

— Хо-хо! Много юколы!

— То-то и оно, что много! А сколько? Вот и сосчитаем. Потом узнаем, сколько вы рыбы и зверя поймали, сколько сами с'ели...

— Кушали?

— Ну, да. Сколько сами кушали, сколько продали...

— А налог сибко бульсой будет?

— Налог? Мы к налогу никакого отношения не имеем. Налог — дело районных организаций. Да потом у вас ведь особое положение. С вас налог не берут. На этот счет не беспокойтесь. Поняли?

— Поняли.

— Вот и хорошо. Мы об'едем все стойбища, поговорим, запишем. Потом все наши записи ученые люди считать будут, смотреть будут. Все узнают. Чего гилякам нужно, как живут, что гилякам послать надо и что гиляки стране дать могут. Может, если больше дели посылать вам, лучше рыбу ловить будете, больше сетей, неводов будет. Поняли?

— Поняли.

— Теперь с каждым хозяином говорить отдельно будем. Ифк все время рядом сидеть будет. Слушать. Правду говорить надо, иначе самим же невыгодно, нехорошо будет. Может, кто что спросить хочет? Задавайте вопросы.

Помолчали. Потом заговорили между собой тихонько, не торопясь, по-гиляцки. Ждем. Наконец тот, что сидел ближе других, парень лет двадцати восьми, по имени Ядан, снова, как и в первый раз, спросил:

— А налог как, сибко бульсой будет? А?

— Что ж ты, Ядан, не слушал? Я об'яснял. Налог не будет. Мы сюда совсем не для налога приехали. Это при старом режиме для налога ездили.

— Правильно. Старый режим — бульсой налог брал.

— А потом, как думаешь, кто будет людей из Москвы за налогом посылать? Расстояние-то какое! Десять тысяч километров!

— Десять тысяч! Х-ю-ю-ю. — Гиляки удивленно чмокают языками. — Десять тысяч! Сколько юколы надо!

[1] **Дель** — материал, из которого плетется сеть

— Юколы? Зачем?
— А как же, собакам кушать.
— Так, вы думаете, на собаках мы сюда ехали?
— А как же!

Приходится об'яснять. Гиляки страшно любопытны. Они подробно расспрашивают о поезде, о рельсах, из чего сделана, как выглядит железная дорога.

— А я видаль зелезная поезд, — говорит Ифк. — Бульсой поезд, хоросый!

— Видал? Где же? — удивляемся мы с Захаровым.

— На Сахалине. В Москаль-во, — говорит он.

Действительно, в Москаль-во начинается железная дорога на Охэ.

Солнце идет ввысь. Становится теплее. Над стойбищем с визгом проносятся кулики, вьются дымки от очагов, а мы все сидим и беседуем.

— Сталина видаль? — спрашивает Непан.
— Видал.
— Но-о! — Непан поражен и с удивлением смотрит на меня.
— Бульсой человек?
— Большой.
— Пуд нерпичьего жиру зараз кушает? А?
— Что ты! — смеюсь я. — В Москве нерпичьего сала нет, а Сталин кушает столько, сколько и другие люди. Одинаково.
— Одинаково? — разочарованно шепчет Непан. — Неправда! Пуд кушает.

Начинаю об'яснять. Рассказываю о Москве. Что кушают. О столовых. Учреждениях. Когда об'ясняю, что служащие и рабочие в обеденный перерыв кушают вместе, гиляки приходят в восторг.

— Сибко хоросо! Каждый день бульсой праздник!
— Какой праздник?
— Как же! В праздник всегда много люди, целые стойбища вместе кушают.
— А водки много пиют?
— Совсем не пьют. Дома, бывает, выпьют, а на службе нельзя.
— А у нас лючче: как праздник, так водку пиют!
— Зато у вас один раз в год вместе кушают, а у нас каждый день.
— Сколько собак в Москве? Наверно, у каждого тысячи?
— Собак нету. Совсем мало собак в Москве.

Гиляки разочарованы.

— Какой бедный город Москва! Ни одной собаки нет!

— А на чем в гости ездят? Пешком ходят?

Говорю о трамваях, автобусах, такси. Слово «метрополитен» звучит тут странно: как «абракадабра». Гиляки понимающе качают головами.

— Правильно, правильно! Знаем. Как катер, только на колесах!

— А в Москве большой промысел? Наверное, лючче Озерпаха? Чище, электричество ярче светит!

За разговором уходит время. Наконец...

Перепись начинается

— Кто будет писаться первым?

Всеобщее стеснение. Старики остаются в прежних, недвижных позах, словно застывшие. Молодежь оживляется. Интересно! По лицам бегут улыбки. Вот тот парень, с тоненькой косичкой — Плевун, кажется, видно, что ему очень хочется «писаться», но он не решается сказать об этом. А ведь секунду назад он совсем готов был крикнуть «я». Он даже просунул голову вперед и раскрыл рот, но, глядя на сидящий вкруг народ, спасовал, смутился и, пойманный чьим-то взглядом, поднял с земли камешек: смотрите, мол, какой красивый!

— Кто же будет писаться первым?

Вспомните: люди стоят вкруг. Один посредине. Они смотрят на него. Человек в пенсне с черным шнурочком. Вот сейчас человек взмахнет рукой, сделает знак, и хор запоет. Но он поднимает руку и только слегка ударяет о ноготь блестящей вилочкой камертона. Тихо, как комар, поет камертон. Звук точен. Тон дан. Человек чуть слышно повторяет его. Взмах руки, настоящий, сильный, и хор, кольцо людей, напрягает шею и грудь сильными звуками пения.

Тон делает музыку. Так неужели вы думаете, что может получится хорошая музыка при неверном тоне?

— Кто же будет писаться первым?

О, мы отлично знаем кто! Еще с вечера мы высматривали того, кто «откроет» перепись. Еще вчера мы решили, что первым будет Ифк, Пак или Хурк. Мы спрашивали о том, кто хочет, не для того, чтобы найти добровольца, а для того, чтобы дать возможность намеченному нами хозяину самому вызваться.

Первый переписываемый хозяин — живой показ нашей работы гилякам. Это первый «блин». Плохое начало скорее приведет к нехорошему концу. С первого берут пример остальные. Первый должен не хитрить и говорить правду. Он должен

твечать толково и ясно. Нельзя допустить, чтобы первый виливал или начинал торговаться, например, о количестве обытой рыбы. Он должен быть таким, чтобы потом можно ыло сказать: «Вот видишь, Сетин, ты отмалчиваешься, а урк все говорил». Или: «Зачем мало говоришь? Зачем говоишь неправду? Надо верно говорить, как Хурк».

Надо создать пример для того, чтобы иметь возможность на его ссылаться.

Но тогда нас спросят, почему именно Ифк, Пак или Хурк огут быть первыми, а не кто-либо другой?

Давайте обсудим.

Ифк — председатель сельсовета. У него две жены. Он польется авторитетом. Хороший хозяин. Очень толковый. Нелохо говорит по-русски. Все это очень хорошо. Но у него озяйство крепче, чем у других. А мы видим Ифка только ервые. Кем он был раньше? Вдруг начнет вертеться, хитить. Может быть, и нет, но все же это рискованно.

Пак — председатель колхоза. Хороший работник. Был паризаном, говорит по-русски хорошо. Наши вопросы его не атрудняют. Но у него нет почти никакого личного имущест. Это плохо. Пак отпадает.

Хурк. Пользуется авторитетом. Он хороший охотник, рыолов. У него налаженное хозяйство. Он хорошо говорит о-русски. Быстро соображает. Вопросы налога его не трежат. Мы его друзья, его гости, нас обманывать нехорошо, ельзя.

Именно — Хурк.

Перепись начинается. Наши предположения оправдались. урк сразу отвечает на все вопросы. Хурк вспоминает и говоит правильно. Он точен и лаконичен. Для поощрения поддриваем, хвалим.

— Так, так, Хурк! Очень хорошо. Ай, молодец! Вспомнил, олько зверя за год убил! А вы, товарищи, тоже вспоминай. Всех буду спрашивать то же самое.

— Сколько тебе лет, Хурк?

— Двадцать девять.

— Сколько жен? Две? А как зовут?

— Пингук и Псарка. Пингук двадцать три года, а Псарке вадцать пять.

— Как зовут детей и когда они родились?

— Пуртину, сыну Псарки, два года. Теньтину, сыну Пинк, один год одиннадцать месяцев.

— Дети выборных должностей не занимают?

— Что?

— Пуртин и Теньтин бригадиры или члены правления колхоза?

Гиляки дружно смеются. Смеется Хурк. Смеемся мы. Кажется, мы теперь начинаем становиться друзьями.

— Мертвые не рождались? Или умирал кто за последние два года?

— Ха-ха-ха! — смеются гиляки. — Мертвые? Зачем тебе мертвые, когда тут все живые!

Об'ясняю. Надо знать, сколько умерло и отчего. Сравним с прошлыми годами. Узнаем, когда лучше было. Узнаем, отчего, от каких причин гиляки умирают.

— Кто родился за последние два года? Мужчин, женщин? Кто вошел в хозяйство? Вышел? Привлекал ли чужую рабочую силу, уходил ли на заработки?

— Дальлес.

— На лесозаготовках?

— Да. Тридцать дней работаль, — говрит Хурк, — харч получаль, деньги получаль.

— Сколько?

Хурк называет цифру.

— Лошадь, корова есть?

— Нету.

— У нас ни у кого нет, — говорит Ифк. — Нам не надо. Нам горбушка, кета надо, нерпа надо.

— Собак сколько, Хурк, у тебя?

Гиляки смеются. Вот чудак приезжий! Как будто бы важный человек, из Москвы приехал, а собак считает...

— Собак, собак... восемь, — шепчет Хурк.

— Как же восемь, Хурк, когда их вон (мы сидим около его дома) десять штук?

— Где?

Мы считаем. Раз, два, три...

— Так это сучка! — радостно кричат гиляки. — Это сучка, ее не считают!

— Почему? Разве сучка не собака?

Гиляков этот диалог приводит в восторг. Они долго и шумно переговариваются.

Со щенками дело хуже. Им счет не ведется. Кто упомнит, сколько было их за год!

Гиляки следят за карандашом. Им нравится, что цифры мгновенно вырастают на бумаге и их трудные имена, которые обычно русские путают, точно заносятся в бланк.

— А ну-ка! Как зовут первую жену Хурка? — неожиданно

экзаменует меня старик Непан. — Скажи! — И он перевертывает страницу бланка назад.

— Псарка. Двадцать пять лет. Сын у нее Пуртин, — читаю я под всеобщие знаки одобрения.

— Правильно, — говорит Непан. — Пиши дальше.

Вот они — разделы VII, VIII, IX, X: пользование чужим инвентарем, дача своего, пользование чужим рабочим скотом и дача своего скота в другие хозяйства. Хурк давал Непану три собаки. Непан давал пять собак Ифку. Ифк давал другим. Надо не перепутать, не забыть, сверить, кто сколько получил, сколько уплатил, у кого брал собак.

— Ну, Хурк, теперь давай имущество запишем.

— Дом один? Вешала одна? Сарай, амбар — нет? Лодка одна? А сколько пудов поднимает? Тридцать? Значит, полтонны? Килевая, плоскодонка?

— Му.

— Хорошо. Так и запишем «му», — это лодка гиляцкого типа, плоскодонка, нос и корма одинаковые, тупые. Му легка на ход, но очень неустойчива.

— Сельскохозяйственного инвентаря нет. Саней, телеги тоже. Так. Нарты одни? Сам делал? Хорошо. Ружей? Три. Какие? Одна двухстволка, одна переломка и одна берданка? Так. Капканы есть? Морской зверобойный инвентарь? Сети?

— Лангр-кэ [1].

— Очень хорошо. Одна? Сколько метров? Не знаешь. Ну, сколько маховых сажен? Три? Мало. Как же ты ловишь нерпу на три сажени?

— Три, пять, сетка вместе шьем, тогда ловим, — об'ясняет Хурк.

— А как же потом зверя делите? Один гиляк бедный, а другой богатый. У одного три сажени лангр-кэ, а у другого пять, восемь. У кого больше сеть, тот больше и зверя получает? Так, что ли?

— Нет, — говорит Хурк. — Все одинаково полючают. Ровно. У нас разницы нет.

При общей охоте за морскими животными на одной лодке хозяин ее, он же обыкновенно и самый искусный ловец, получает не больше последнего подростка-гребца. Кроме того часть добычи раздается и тем семьям, члены которой почему-либо не могли участвовать в охоте. Сушеная рыба, являющаяся главной пищей гиляка, рассматривается почти как общая собственность, и всякий, у кого вышли запасы, берет ее у соседа без всяких возражений с его стороны. Во всяком слу-

[1] Лангр — нерпа. Кэ — сеть, т. е. сеть на нерпу.

чае никто не голодает, пока хоть у кого-нибудь из сородичей есть запасы. Стоит голодающему переселиться в юрту имущего сородича и даже просто захаживать к нему два-три раза в день — и с ним безропотно будут делиться до последней юколы, до последней пригоршни табаку.

— У нас нет нищих, — говорит Ифк. — Кто сибко бедный, бульной, старый — того стойбище кормит или родственник, у кого поселится.

— Конечно есть острога, — продолжаем мы перепись, — сетка для рыбы...

— Есть. Только сетка так, старая. Теперь сеткой мало-мало ловим, пока хода рыбы нет. Теперь колхоз ставной невод сделал. Вот как. Теперь гиляки, как промысел, сибко много рыбы ловят.

Раздел идет за разделом. Цифры фиксируют все: сколько добыто зверя, рыбы, дичи, нерпы, сивуча; куда все это ушло — с'едено, продано, сдано заготовительным организациям, в колхоз и т. д.

По страницам бланка можно познакомиться с Хурком, Ифком...

Раздел XL — приобретение товаров за год. Все в отдельности: крупа, мука, масло, табак, керосин, мыло, мануфактура, чай, сахар...

Наконец бланк кончается. Смотрю на часы. Мы говорили с Хурком ровно час. Это долго. Впереди еще очень много хозяйств.

Несправедливость

Утром, рано, часов в шесть, пошли на берег умыться. Быстрый прилив вздымал в заливе воду. Вода шла огромным безмолвным потоком. По воде, точно по темносизой грозовой туче, плыли, как льдины, белые хлопья пены. Небо — светлая, бездонная поверхность. Материк растянулся вдоль горизонта грозными, уходящими во всклокоченные облака вершинами. Синие горы, подернутые утренней дымкой, тяжелыми силуэтами легли на акварельный рисунок утра. Вода холодна. Холодная свежесть ее бодрит и жжет.

Как хорошо!

Однако надо итти, начинать работать. А кажется, весь день просидел бы тут, у залива, глядел на воду, быстрый прилив, такой быстрый, что видишь, как наступает вода на берег, глядел бы на синие горы..

Работа идет медленно и трудно. Гиляки как переписной



— Дела, дела... сколько забот у правления колхоза!

об'ект сложны. Многие стараются схитрить, обмануть. Правда, все это делается наивно, примитивно.

— Сетин! Рыбу ловил?

Охотно отвечавший до этого Сетин — молодой, здоровый парень — вдруг умолкает, как девушка, смущается и начинает грызть тростинку.

— Рыбу ловил?

Молчание.

— Ты что, не понимаешь? Может, ты боишься? Так ты скажи, не бойся.

Тишина.

— Он стесняется, — говорит сидящий сбоку Ифк. — Спрашивай дальше, товарищ.

— Вот меня и интересует, почему сначала Сетин говорил, а как дошло до рыбы, вдруг застеснялся?

— Оур! Ты говоришь, что ни одного колонка не убил?

— Не убиль!

— И лису не поймал?

— Не поймаль.

Я смотрю в книжку записей, сделанных у Гриши в интеграле. Гиляки наблюдают за нами. Они знают, что Оур говорит неправду. Это видно по их лицам, но они ждут с интересом, чья возьмет. Оур смущается, но не отступает.

— Ни одного не поймаль.

— А вот мы знаем, что ты поймал две лисы, одну крестовку, одну красную, что колонков убил пятнадцать штук, куликов штук сто и чаек пятьдесят. Правильно?

— Однако так будет, — вздыхая, говорит он — Чаек пятьдесят будет.

— А остальных? Лис, колонков?

— Так будет. Ты правильно сказаль.

Бывают энтузиасты, которые врут, несказанно преувеличивая, не из хвастовства, а потому, что им «для советской власти ничего не жалко», и себя, мол, не пожалеем, побольше скажем.

— Ну, Оур, водку пьешь?

— Пиешь!

— Сколько за год рублей тратишь?

Оур думает. Ему помогает слушатели. Они обсуждают цифру. Наконец устанавливают:

—Двести пятьдесят рублей!

Двести рублей — средняя цифра, которую тратят старики-гиляки на водку. Молодежь пьет тоже, но значительно меньше. Старикам простительно. В старое время водка всячески прививалась «инородцам».

«Обрусение гиляков началось еще задолго до приезда генерала. Началось оно с того, что у некоторых чиновников, получающих даже очень маленькое жалованье, стали появляться дорогие лисьи и собольи шубы, а в гиляцких юртах появилась русская водочная посуда. Начальник Дуйского поста майор Николаев говорил одному корреспонденту:

— Летом я с ними дела не имею, а зимой зачастую скупаю у них меха, и скупаю довольно выгодно; часто за бутылку водки или ковригу хлеба от них можно достать пару отличных соболей», пишет Чехов.

Теперь обману положен конец. Меха скупает интеграл — Гриша Девятириков. Он трясет шкуру, дует на мех и справляется в прейскуранте. Без различия — русский, гиляк — все получают одинаково, настоящую цену. Другой раз отпустит Гриша гиляку больше пороха и дроби и на ворчанье русских скажет:

— Ладно, пускай стреляет. Его империализьма замучила. Его чужой угнетал, а нас свой. Получай больше, товарищ. Наше дело тонкое. Политика! Во как!

С одной цифрой происходят постоянные недоразумения. Гиляки явно преувеличивают.

— Сколько ты купил мыла, Оур?

— Мыла? Киль, киль... десять, — выпаливает он.

— О-о! — стонет Ифк. — Десять! Может, пять?

— Вот-вот! — сразу соглашается Оур. — Как раз так будет.

Гиляков обвиняют в нечистоплотности. Они это отлично знают и нарочито преувеличивают количество купленного мыла. Мыло идет преимущественно на стирку. О необходимости мыть руки и лицо мылом знают не все. Но все же некоторые знают. Уже нет той ужасающей картины, которую нарисовал Чехов. Она для людей, побывавших в этих местах, звучит для настоящего вымыслом и только для прошлого правдой.

«Гиляки никогда не умываются, так что даже этнографы затрудняются назвать настоящий цвет их лица; белье не моют, а меховая одежда их и обувь имеют такой вид, точно они содраны только что с дохлой собаки. Сами гиляки издают тяжелый, терпкий запах, а близость их жилищ узнается по противному, едва выносимому запаху вяленой рыбы и гниющих рыбных отбросов. Около каждой юрты обыкновенно стоит сушильня, наполненная доверху распластанной рыбой... Около этих сушилен Крузенштерн видел множество мелких червей, которые на дюйм покрывали землю. Зимой юрта бывает полна едкого дыма, идущего из очага, и к тому же еще гиляки, их жены и даже дети курят табак...»

— Ифк! Гиляки теперь совсем иначе живут.

— Теперь гиляки совсем лючче живут! — говорит Ифк. — Хорошо, чисто живут...

— А раньше?

— Раньше? — Ифк хмурится. — Раньше гиляки русским все равно как собаки были. Вот как. Глупые, темные...

— А кто, Ифк, виноват, что гиляки темный народ. Кто, потвоему, оказал им такую несправедливость?

— Кто виноват? — шепчет Ифк. — А вот послушай...

День на исходе. Мы одни с Ифком. Последний переписываемый сегодня Оур ушел. Возле нас только псы, да и те дремлют перед вечером. Ифк серьезен. Он задумался, готовясь к рассказу.

— Раньше все люди одинаковые были. Жили одинаково, говорили одинаково. Только письмо у всех разное было.

Хорошо жили люди.

Все было. Кеты много. Юколы много. Нерпы, зверя сколько хочешь..

Думают люди: на земле хорошо, а на небе, наверное, лучше. Давай, полезем на небо!

Стали строить высокий дом. Почти до неба достроили.

Правда.

Увидал их бог — Кур. Рассердился. Взял и перепутал все языки.

Стали люди спрашивать друг друга, где топор или другое что, а никто друг друга не понимает. Испугались тогда люди и давай из дома бежать.

Все бежали. В дорогу с собой юколу, жир нерпичий брали. Грамоту свою брали. И гиляк-дурак так испугался, что и грамоту свою взять забыл...

А Кур дом тот сломал. С тех пор люди по земле будто разные и ходят...

Так и остались мы такие темные...

В переложенной народом Нибах легенде о Вавилонской башне, завезенной в далекую страну миссионерами, звучит печаль, трогательный укор в несправедливости...

Татак

У гиляков красивые дети. Гиляки нежные родители и внимательные супруги. Многоженство явление обычное. Случаи ранних браков очень часты.

Перед нами парень тринадцати лет. Он женат на двадцатилетней

И, наоборот, брак в преклонном, более того — старческом, возрасте не менее обычен. Вспоминается интересная встреча во время нашего пробного выезда из Николаевска в колхоз «Кукла». Мне довелось переписывать старца. Зовут Татак. Сбоку стоит замредактора «Тихоокеанской звезды» Кулыгин и комментирует:

— В 1890 году в этих местах, проездом на Сахалин, был тогда еще молодой Антон Павлович Чехов. Ему показывали

Татака. Он уже и тогда был стариком. Чехов говорил с ним, расспрашивал о гиляках, их жизни, быте. Татак был живой, разговаривающей историей.

Татак отлично помнит годы, когда еще не было Николаевска (а город был основан в 1850 году).

— Сколько тебе лет, старик?

— Не знаю! — смеется он. — Разве упомнишь? Считать надо!

— Ну что ж, считай! Нам точно знать надо.

— Теперь не сочтешь! — говорит Татак. — Раньше считал. Счет вел, а потом сбился. Один раз собака лет десять-пятнадцать с'ела, другой потерял тоже не меньше десять-двадцати...

— Что?!

— Ну, говорю, собака кушаль...

— Старик-то, видимо, спятил, — шепчу я на ухо Кулыгину.

— Нет! — смеется Кулыгин. — Вот вы статистики, а, наверное, такой формы счета и ведения летоисчислений, как у гиляков, не слыхали! Когда гиляк хочет знать, сколько лет он живет, — об'ясняет Кулыгин, — он, чтобы не забыть, не спутаться, каждый год откладывает по одной рыбьей голове. Как год — так голова. Как год — голова. Вот и Татак откладывал. Много их накопилось, голов. Ну и не доглядели. Часть собаки пожрали, часть, наверное, ребятишки растащили, а может, и сам в минуту трудную поглодал. Глядишь, десятка-другого «лет» и недосчитаешься. Хорошо еще, что заметил, а другой живет, живет, а ему все пятьдесят лет! Он и радуется — вот хорошо! А собаки закусывают.

— Правильно, Татак?

— Как раз так будет! — смеется старик. — Правильно говорит.

Кулыгин утверждает, что Татаку сто двадцать лет. И Татак охотно соглашается:

— Однако так, сто двадцать будет! Как раз так будет!

— Кроме того, — добавляет Кулыгин, — имейте в виду, что гиляки считают возраст не со дня рождения, а со дня зачатия.

Татак крепкий и еще вполне бодрый старик. У него много пожелтевших, от вечного курения, зубов. Три года назад он перестал ходить на охоту за зверем и дичью.

— Ты куришь, Татак?

— Куришь, — повторяет он вслед за мной.

— А водку пьешь?

— Писшь, писшь! — радостно смеется Татак. — Мало-мало писшь, — поясняет он. — Когда товарищи угощают, можно

выпить... Хоросо выпить! — довольный повторяет он. — Сибко хоросо!

Татак рад бы пить водку, да денег нет. Теперь он гилякский ветеран. Его кормит колхоз, членом которого он состоит. Пожалуй, это один из самых старых колхозников в союзе. Несмотря на свою старость, он иногда еще помогает колхозникам ловить рыбу.

Лет пятьдесят тому назад умерла его первая жена. Он женился снова, семидесяти лет. После смерти второй жены он женился в третий раз. Тогда ему было уже около девяносто лет.

Через одиннадцать лет у жены Татака родилась дочка, теперь девятнадцатилетняя девушка — Пыник.

Татак не помнит Чехова, и вообще он уже многое забыл. Он плохо слышит и часто невпопад добродушно смеется.

Перепись приходится начинать сначала

Когда уже кончили перепись, последний из переписываемых гиляков — Тютька — вдруг сообщил, что очень многие занимались нартовым извозом, хотя мне говорили, что никого не возили.

— Тютька! Ты на собаках груз возил?

— Возиль.

— Сколько получал?

— Так рублей...

Тишина. Я хочу поторопить Тютьку, но Ифк говорит:

— Подожди. Видишь, Тютька думает!

Жду. Тютька шевелит губами, и на лице его выступают крупные капли пота.

— Рублей, рублей... пятнадцать, — сокрушаясь, говорит он, — пятнадцать...

— Что ты врешь, Тютька! — смеется проезжий из Коль милиционер. — Сколько за пуд получаешь, три рубля?

— Да.

— Сколько раз ездил?

— Три.

— А туда и обратно шесть концов, по десять пудов, сто восемьдесят рублей! Правильно?

— Однако правильно, — говорит Тютька. — Однако так будет!

— Ну, так чего ж ты говорил — пятнадцать? У всех так?

— У всех так будет.

Приходится всех переспрашивать. Начинай сначала. Захаров молчит. Я злюсь. Ифк сконфужен.

Наконец перепись стойбища Иски закончена. Мы отдыхаем с Захаровым в этот вечер. Потрескивает хворост в камельке, готовится вкусный обед из диких уток и макарон.

Сажусь за записки. Вокруг меня ходит Тепак. Он уже три раза входил и выходил из избы. Сейчас он придет снова. Так и есть. Тепак мнется. Видно, что он хочет что-то сказать, но не решается. Тепак крутит в руках орлиную лапку и черными когтями орла застенчиво ковыряет свои черные ногти. Наконец он подходит и трогает меня за плечо.

— Ты, товарищ, чего там писаль? А?

— Где там?

— Когда нас писаль. Чего писаль — все правильно писаль?

— Ну конечно. Я все помню, что ты говорил.

— О-о! — удивляется Тепак. — Правда?

— Как же! Двадцать колонков, десять белок, три лисы, один медведь, одна выдра...— перечисляю я названную Тепаком добычу от охоты.

Тепак смущен. Определенно он сломает орлиную лапку.

— Ты не пиши. Я неправду сказаль. Я только три утки и пять кулик поймаль, а зверя я не поймаль. Я боюсь мыдведь...

Тепаку стыдно, но он нашел мужество признать свою ложь.

— Хорошо, я исправлю, но зачем ты говорил неправду?

— Я стеснялся, — говорит Тепак.

Это бывает часто. Молодые преувеличивают, стесняясь признаться перед москвичом в ничтожных результатах своей охоты.

Бронзовый человек

Завтра утром мы выезжаем в Петровское зимовье. Сегодня все-таки хотя и не хочется, но надо использовать вечер — поехать на промысел Петровская Коса.

Захаров остается дома. Вдвоем на промысле делать нечего. Захаров уже приготовил совсем затасканный номер газеты, расправил его ветхие бумажные листы и, смущаясь, полез в мешок.

— Тебе чего, Захаров?

— Хочу еще свечку взять, темно при одной, газета старая.

— Ну-ну. Бери больше, глаза испортишь. Бери четыре.

— Глаза газетой не испортишь,— строго говорит Захаров.— Вон Сетин никогда ничего не читал. глаза здоровые, а он совсем слепой...

— В жизни, — провожает меня Захаров, — ничего не пропадает. Глаз от чтения устанет, ослабнет зрение, зато голова дальше видит...

На промысле захожу к Ускову. Снова встречает жерло граммофона: «С компаса не спускай ты глаз. Пой песню, пой!» Едим студень из белухи, пьем чай. Потом переписываю амбулаторию, школу, промысел. Это дело простое, недолгое.

На обратном пути встречаем здоровенного мужчину. Он идет по берегу, большой, крепкий, литой—бронзовый человек. Он кричит мне с берега: «Подвези!» Мы останавливаемся. Он садится в лодку. Его обвеянное ветрами, спаленное солнцем и просоленное водой тело стало бронзовым. Оказывается, это секретарь колхоза «Поми» с острова Удд, того самого, куда мы скоро поедем. Он едет в город. Вернее, едет до Власьева, а дальше идет пешком через горы.

Нам вдогонку легким приветом проносится ветерок. Ставим парус. Недовольный, он надувает свои полотняные щеки. Лодка ложится чуть набок и, постепенно набирая скорость, безмолвно скользит вперед.

— Я люблю их, — говорит бронзовый человек, секретарь колхоза «Поми», — люблю гиляков. Сам я иркутский. А вот залез сюда, забрался и сел. Никуда не хочу. Всю Чукотку и Камчатку исходил, бродяжил, промышлял, и все куда-то тянуло. А вот сюда приехал восемь лет назад и никуда... По этому краю езжу, тайгу, горы, берега, как свою родину, знаю. Ничего мне больше не надо. Тут, должно быть, у них до последнего останусь.

А сначала не так было. Наш брат, бывалый, не просто оседает, свыкается. Совсем не просто. До этих мест, до севера, я всю Россию исходил. Где только ни был!

Сюда занесло попутным ветром. Стал приглядываться. Вижу, народ с сердцем, мудрый. Только сначала они этакими нелюдимыми, чужими показались. У нас ведь гость — самое первое дело. На юге так там хозяин в подметку расшибется, чуть целоваться не лезет, говорит, говорит, угощает... А все это ни к чему. Поверь, настоящему человеку, мужчине, ни к чему...

Он умолкает, и мне кажется, что под его курткой шевелится чугунная, тяжелая сила.

— Что мне дадут причитания друзей, когда я потеряю что-нибудь? Ничего. Лучше рядом молчаливый недруг, чем болтливый друг. Да. Но все же я до этого не сразу дошел. Сначала бывало заходишь к ним в дом с пути, с дороги, метель за углом, вьюга, собак заносит, не откопаешь. Холод... Войдешь, по-русски конечно поздороваешься. Здравствуйте, мол, други! А они сидят за едой и молчат. Ни слова. Так только, посмотрят да молча подвинутся, место освободят. Не полагается у них здороваться и прощаться. Постоишь, постоишь, замерзший, голодный, — сядешь. Ну и начнешь есть. И тоже молчишь. Да. Ну, и как отойдешь, согреешься, тогда спросят, поговорят. По-хорошему поговорят. Скромно. В душу тебе никто не лезет. Не выспрашивают, не допытываются. Не юг это. Тут сусальности нет, поцелуев там, причитаний. Тут, брат, сила, крепость...

Вот и привык. Понял — обычай такой. Всякий народ посвоему живет. Так и они. Приглашать к столу не полагается. Раз стол стоит, садись сам. Любой садись, гостем дорогим будешь. В каждый дом войди, в юрту, землянку, избу, зайди и скажи: «Есть надо!» Все вытащат, что в доме имеется. Все. А потом на лучшее место спать положат. Да. Хороший они народ. Просто угощать не принято. Приходишь — ешь. Нет готового — приготовят.

Лодка огибает мыс. Серая вода хлюпает под бортом. Парус на мгновение никнет, бессильный, белый. С криком проносится мимо птица. Ее не видно в темноте. И только легкий росчерк птичьего крыла в воздухе едва улавливает слух. Далеко блеснул огонек — Иски.

— Остался я у них. Факторией заведывал. А теперь вот секретарем уговорили быть. Помощь нужна! Грамота. О! Именно грамота им нужна. Вот и работаю и живу. Ребят молодых выбрал. Учу. В головы вдалбливаю. Пускай на мое место встанут. Учатся, черти! Ух, как учатся! Аж похудали, бедняги. Как думаешь, легко от медвежатины да нерпичьего сала на таблицу умножения переходить? Это, брат, у нас пятью пять двадцать пять, — мать сосешь, слышишь! А тут что? Но ничего, ничего. И мои ребята выучатся. Еще других пестовать будут. Так и говорят теперь: «Фарт наш пришел!» И верно, фарт. Счастье!

Он опять умолк, этот бронзовый человек. Парус наш опустился, опал, и лодка едва скользит по воде.

— Это было давно. Жил я тогда на Сахалине, в стойбище Погоби. Место страшное, беспощадное. Низкий берег уходит в пролив. На другой стороне, над проливом, над водой, над

горами, каменным стражем стоит скала. Мыс Лазарева. Тысячи беглых бежали сюда. Питаясь дикой ягодой, случайно подбитым зверем, скрываясь от зверя и человека, опасаясь шороха, треснувшей ветки и шумов ночи, озябшие, продрогшие, не разжигая костра, чтобы не быть замеченными, шли сюда голодные, обреченные люди, и не раз нож опускался в тело товарища, и человек ел мясо человека...

Погоби! В самом узком месте Татарского пролива, зовущемся именем Невельского, была дорога беглых к свободе... Огромный пролив, как поясом, стянут посредине. Ширины тут в нем километров восемь. А в сторону он раздается до полуторасот! Быстрый поток прилива и отлива проносит сквозь узкую лазейку мыса Лазарева и Погоби обширные воды пролива. Сквозь ушко иголки тянет природа неуклюжего верблюда. Страшная быстрина пересекает дорогу беглых. Поток воды стремителен и могуч. Не устоит человек, унесет его на простор пролива и — конец. Обреченному оставался один путь — переплыть. И люди шли. И люди плыли. На маленьких лодках пускались они в пролив. Одних догоняли пули кордона, других уносило на самую ширину, иные гибли от шторма, налетевшего сразу, в мгновение, гибли тут же, глядя на берег свободы и каторги...

Недаром место это прозвали русские не Погоби, а Погиби.

Однажды гиляки пришли ко мне. Нужно было срочно переехать на материк. Гиляки знали, что я человек бывалый, — смотри, друг, цвет кожи переменил в пути! — и они пришли за мной, не решаясь плыть одни. Так же просто, как их обычай и обращение, без хитрости, сразу, они сказали: «Помоги!»

Мы поплыли...

Что заставило меня, русского, стоять у руля гилякской лодки, почти обреченной маленькой лодчонки? Почему пошел с ними посторонний человек, даже в лучшем случае не получивший бы обычного для нас, русских, «спасибо»? Что?

Понимай сам, друг, как хочешь. Зачем отвечать на вопрос словами, когда уже давно отвечено делом...

Это был путь, который остался у меня, во мне, где-то тут, понимаешь, внутри, навсегда. Много пройдено дорог, много пройдено рек и морей, но путь пройден один...

Я, брат, не художник, не Чехов. Нет! Не тот человек. И не мне описывать картины, как плыли, что думали. Не выйдет! Говори, не говори — каждому человеку свой язык дан, каждому положено своим языком разговаривать. Так вот просто могу сказать: переплыли.

Как ступил я на землю, оглянулся — вода за мной шумит. Сопка знакомая стоит, — лазал я на нее не раз. Гиляки разговаривают. Псы кругом шляются. Все как будто то же самое осталось. То, да не то! Чувствую — не то, да и только. Подумал, подумал, смотрю — и я сам какой-то другой. Что за чорт!

Ночь пришла. Тут мы заночевали. Легли. А мне не спится. Хоть глаз не смыкай, право — лезет разное в голову. Эх, друг! Сколько в ту ночь передумалось!

А утром встал, сам дивлюсь, будто неделю отдыхал, — бодрый, здоровый. Силищи хоть отбавляй! Встал, глянул — солнце взошло и дорога — та, что вчера концом могла быть, — как праздник, синяя-синяя. А над водой чайки носятся. А там уж глянь — гиляки на лодчонке свежей рыбешки наловили. Едут, кричат мне: сейчас кушать будем...

Глянул и понял. Перешел я пролив-то. Понимаешь — перешел!

Слушай. Сказать, как надо, не могу. Ну, ничего, авось так поймешь. Не Москва это. Понял я тогда, в чем мудрость заключается.

Вот ходят по земле люди. Живут, разговаривают. Работают. Чай пьют. А все не то. Не то, да и только. Живет такой человек, будто не по дороге, а около нее идет. Как бы это тебе об'яснить? Ну, например, вот когда телега едет по грязи, так задние колеса все вбок сползают. Так и едет телега бочком, будто едет вперед, а все боком. И ничего впереди не видно. Сбоку потому что едет. Вдруг на дороге камень. Хлоп! Подскочат колеса, и наверх, на дорогу, сразу выйдет. Ну, а там путь прямой. Все видно...

— Нет не то, — говорит он, — не получается у меня. Лучше иначе скажу. Чудно даже, что на ум приходит. Ну, все равно.

Помню, на родине, в Иркутской, место у нас красивое, у моего окна черемуха росла. Бывало подойдешь — любуешься. Вот, говорю жене, скоро она, черемушка наша, зацветет. Да. Как-то подхожу. Тепло уже настало. Но окна еще не отворяли. Смотрю — черемуха этакая расфуфыристая стоит. Зеленая, сочная, и на веточках из почек листок уже лупится... Молодой, задорный... Хорошо! Смотрю сквозь стекло, радуюсь. В комнате тепло, приятно, и на воле, за окном, живое бьется. Ей-ей! Будто бы свое. Постоял я так, постоял, да вдруг разом — дерг! — и распахнул окно. А в комнату ворвался свежий ветерок, воздух душистый-душистый, весь черемухой пропитан, — полыхнул в лицо, земля, кажись, чернее стала, черемуха яркая-яркая сделалась, а сам я будто куда-то в другое место попал... То ли от свежести, то ли от запаха чере-

мухи, сам не знаю от чего, но понял я да как заору, громко, на весь дом: «Весна! Весна пришла!»

Понял? А? Вот ходит человек, живет, а окошко-то у него закрыто! А жизнь, она так устроена, что не каждое окно открывается. А если и открывается, так не во всякую пору. Другой откроет, а на него мороз повалит, вьюга, снег, и никакой черемухи. Стоит паршивое деревцо. Ни тебе цветов, ни листьев. Голое. Стужа, друг, а он окно открыл! Да. Нелегкое это дело. Не всем дается. Не всем.

Так встал я в то утро — гляжу, а окошко открыто.

С тех пор у гиляков я и остался.

Он молчал. Ветер уже давно наполнил наш парус.

— Ты, друг, молодой, тебе предстоит пролив перейти. Может, тот же, что и мне, может, другой! Проливы разные бывают. Вот мои ребята, так не с веслами, а с карандашом пролив переходят... И ничего. Перейдут! Нам, знаешь, люди нужны, именно переплывшие пролив! Вот и ты пойдешь. Вспомни тогда старика. Вспомни — тебе пустяк, а мне радость. Если доведется моим путем итти, проливом Невельского, так помни, скала там, Коврижкой звать, — на нее держи. Да, перейдя второй фарватер, смотри в оба. Банка там большая...

Ну, ладно, заболтался я. Не поминай старика лихом. Будь здоров!

Лодка ударилась о дно и остановилась. Упал парус. Он легко соскочил на берег.

. . . .

Ночью, проснувшись, я вспомнил, что забыл спросить его имя.

Псы плывут по воде

Утром выехали в Петровское зимовье До него, находящегося у «основания» Петровской Кошки, то есть там, где она выходит из материка, путь идет вдоль берега заливом Счастья.

Ехали на собаках.

Наш «экипаж» — лодка. Собак припрягли к длинной бечеве. Они тянут на ней лодку, а сами бегут по берегу. Собаки — бурлаки. Каюр сидит в лодке и из нее управляет упряжкой.

Псы — их пять штук — бегут быстро и послушно. Впереди передовик. За ним попарно, цугом, четыре везущие собаки. Передовик может не везти. Это его право и привилегия. Он обязан слушать каюра, выполнять приказания, которые каюр отдает, лишь выкрикивая короткие слова. Везущие псы слепо



Собаки-бурлаки.

следуют всему тому, что делает передовик. Бывает, что собаки хитрят. Кто-либо из них, разленившись, начинает «халтурить», то есть не тянет лодку или нарты, а бежит так, что лишь держит свою постромку натянутой. Остальные псы моментально это замечают и на ходу нещадно грызут лодыря. Начинает экзекуцию обычно сосед или бегущий позади. Он вцепляется лодырю в зад, к нему моментально присоединяются остальные собаки, и «кони» тогда вертятся на одном месте в невероятной свалке.

Передовик, как мы сказали, может не тянуть. Ни один пес из упряжки не посмеет посягнуть на его авторитет и не посмеет зарычать на него. Псы тянут лодку очень легко. Они бегут с невероятным увлечением, азартом. Когда на пути встречается какое-либо препятствие — скала, обрыв или что-нибудь в этом духе, каюр кричит передовику; умный пес, слушаясь команды, сворачивает в воду, а за ним вся упряжка, и все они оплывают препятствие. Потом они вылезают на берег, на ходу трясут шкурами и снова бегут по берегу, печатая лапы на песке. По команде передовик сворачивает направо или налево, садится или останавливается. Незамедлительно вся

остальная собачья ватага выполняет за своим вожаком команду каюра.

У собак имен нет. Все собаки называются одинаково. Названия различаются только по масти. Чанлик — белая, Уркин — черный, Курш — пестрый, Пааш — красный, Котек — черный с белым загривком.

Здешние псы не похожи на наших собак. Они большого роста. Огромная грудь, треугольная голова, всклокоченная густая шерсть, широко расставленные лапы, короткие уши и обрубленный хвост делают их похожими на небольших медведей. Их глаза, как две пуговицы, ничего не выражают. Часто они бывают разноглазые: один глаз черный, другой зеленый или светлоголубой. Такие псы имеют свирепый вид. На отдыхе собаки лежат плашмя или боком на земле, прямо вытянув лапы. Здешние псы — лошади. Они почти никогда не лают, не откликаются на имена, послушно везут нарты или лодки. Каждый, кто сядет и правильно крикнет, может ехать на них. Они бегут без хозяина.

Их кормят сушеной рыбой — юколой. Летом, когда собакам приходится работать изредка и только часть из них сидит на приколах, непривязанные псы шляются по стойбищу и «пасутся». Они поедают все, что находят. Собаки, сидящие на приколах, то есть колах, вбитых в землю, напоминают грядку гороха на огороде. Колы вбиты симметрично. Вокруг каждого из них вьется пес. Собаки прыгают с остервенением вперед, пытаясь оборвать ремень, или бегают вокруг кола до тех пор, пока не обмотают вокруг него всю свою цепь. Тогда они стоят, прижав голову к деревяжке, и жалобно взывают к хозяину и ждут, пока к нему не подойдут и не раскрутят ремень.

Летом собакам дают полрыбы. Зимой каждый пес получает целую рыбу весом два-три кило. Собака мгновенно проглатывает свою порцию и больше за весь день ничего не получает. Пить собакам не дают. Летом они пьют воду сами, а зимой едят снег

Визг и драка у собак постоянны. Драки бывают свирепые. Так же как у людей, из-за собственности, нарушенных прав и т. д. Только у собак собачья собственность, свое собачье право. И конечно, как у людей, побеждают, едят сильные. Любопытно общее правило в поведении собак: у своего дома они сильнее. Даже более сильные псы, проходя через «чужую территорию», неохотно, рыча, но все же повинуются «хозяину».

Поединок

Драки бывают разные. Мелкие стычки, то, что у людей называется «повздорить». На собачьем языке это значит выдрать клок шерсти, ухватить за загривок, потрясти и бросить. Драки бывают и такие, что их вполне можно сравнить с драками у людей. Тогда враги сражаются долго и упорно, пока кто-нибудь не сбежит. Но бывает столкновение, когда сбежать нельзя. Это поединок. Бой. Тут борьба принципиальная и имеющая, разумеется, по своему собачьему пониманию «общественное» значение. Тут может быть смертельный исход, по уже во всяком случае победа должна быть явной.

Поединок — страшное дело. Нам довелось видеть его не раз.

Однажды обычное ворчание затянулось. Множество псов собралось на полянке у крайнего дома. Одни лежали, другие бесцельно слонялись поблизости. Два пса, огромных и окаменелых, стояли друг перед другом и гневно, смотря мимо, в стороны, рычали.

Они рычали долго и сосредоточенно, густым рыком содрогая свои чугунные груди. Густая шерсть медленно вставала на их широких загривках, и толстые обрубки хвостов торчали вздрагивающими кочерыжками кверху. Тут не было легкомысленного и никчемного кружения московских шавок. Враги, как буйволы, стояли друг против друга, пригнув тяжелые треугольники голов к земле.

Один был черный, другой красный. Черный был толще, сильнее, а Красный — ловкий, сухой, мускулистый. Черный был туп, а Красный сметлив.

Наконец Красный, тот, кого звали Пааш, не выдержал и, зарычав слишком громко, разинул широко пасть. Белые клыки гневно лязгнули, и в воздухе сверкнул нежно-розовый язык. Казалось, что Красный, ругнувшись, облизнул свои губы.

Уркин — Черный — не мог снести такого позора. Мгновенно мохнатое чудовище отпрянуло от земли и прыгнуло к Красному. Пааш отскочил, огрызнулся, и страшный рык продолжался.

Другие псы перестали ходить. Они остановились и подняли головы на борцов. С земли уже вставали лениво лежавшие до того собаки. Общество начинало явно реагировать на происходившую перебранку двух.

Снова рычание и снова несколько коротких, как удар боксера, попыток схватить. Атмосфера накалялась. Собаки вставали, подходили ближе и постепенно окружали борющихся. На-

конец один из ударов, нанесенных Красным, был так стремителен, что Уркин не успел отскочить. Красный впился в Черного, и схватка началась.

...Бывали вы на боксерских состязаниях? Вспомните? Когда бойцы сходятся в «клинч», в схватку на короткой дистанции, нет человека, зрителя, который бы оставался равнодушным к борьбе...

Собаки собрались. Они образовали большой круг и... сели. Псы сидели вкруг, как в цирке. Важные, строгие... У них торчали кверху короткие уши, и внимательные пятна их глаз устремились к центру внутрь круга. Там. как на арене, бились двое. Псы смотрели.

В остервенелой схватке катались Красный и Черный. Кругом взвивалась пыль, летели вонючие клочья шерсти, как машины, лязгали челюсти, клыки о клыки, и грозный рык вырывался из их раз'яренных пастей. Густая, черная кровь текла на землю...

Сосредоточенные зрители, не отрываясь, следили за поединком.

...Вспомните! На матче не раз вы вскакивали с досадой, хлопая по стулу, чмокали губами, грызли ногти, чесали кончики пальцев и возмущались вслух «неправильным», «нечестным» ударом боксера...

Псы сидели вкруг. Это был страшный круг. Всклокоченные, клыкастые зрители напоминали собой вывернутые наизнанку полушубки, начиненные огромной злобой и силой. Они начинали нервничать. Борьба захватывала зрителей.

Смотрите! Вон у того, тощего, коричневого пса, хвост заегозил по земле и разгреб в ней целую ямку. Ого! А этот — он уже рычит!

А тот! О, он поднял губу, черную и влажную, и обнажил такой основательный ряд белых «доводов», что не согласиться с ним нельзя!

Вдруг грозное рычание круга и лязг множества клыков дали понять Черному, что он «смухловал».

...Как падает настроение у боксера, когда он видит, что публика на стороне его противника!..

Черный сдавал. Красный, собрав силы, упорнее наседал на него. Псы, измученные битвой, в клочьях, окровавленные, измазанные черной землей, почти не различались цветом. Только стройные ноги Красного и весь его «спортивный» торс отличали его от монументальной фигуры Черного.

Снова промахнулся Уркин, и Красный, взвившись змеем, вцепился ему в загривок, в шею крепко, глубоко. Он даже

стал, широко расставив лапы, чтобы иметь возможность трясти Черного и не дать ему времени опомниться. Но вот Красный устает. Его глаза наливаются кровью, и он во-время ударом швыряет Уркина на землю.

Уркин отползает в сторону. Пригнувшись, готовый к прыжку, Красный, рыча, набирает воздух и, отдыхая, готовится к новой схватке.

Собаки неграмотны. Они не умеют, как культурные люди, считать до десяти и затем об'явить: «нок-аут». Нет! Они не знают этого. Собаки рычат. Уркин, шатаясь, встает. Шерсть висит на нем клочьями. У него разодрана щека, выдран бок и подбит глаз. Его противник изранен также. Но он оказался ловчее и выносливей. У него еще есть силы. Раздавленный Уркин хочет уйти. Пристыженный, он пятится назад, уходить, но вдруг злобный цирк зрителей гневно рычит, и один из них больно хватает его за ногу.

Вперед!

Или сдайся, или умри!

Псы не знают пощады.

Они грызут несчастного Уркина и толкают его вперед на врага.

...Видали вы, как побеждаемый боксер падает на веревки ринга? Неумолимая преграда канатов пружинит и кидает его назад, на кулаки победителя. Удар, другой, короткие удары по ослабевшему телу противника раздаются, словно всплески весел о воду, и побежденный падает...

Шатаясь, собирает последние силы Черный. Кажется, что-то сверкнуло в его глазах. Что это — мысль, упование на победу?

Черный клубок взвился в воздухе, и Красный, как брошенный камень, ринулся навстречу. Два тела столкнулись, рухнули, и началась последняя схватка.

Псы катались по земле. Они вертелись вокруг себя, перевертывали друг друга, и в воздухе вились хвосты и лапы. Казалось, что бились десять врагов, а не два окровавленных пса. Земля под ними стала ровной, темной от крови и клочьев шерсти. Круг зрителей сомкнулся, сдвинулся. Псы рычали, выли и мотали башками. Они не могли уже больше спокойно смотреть.

Еще одно последнее усилие. Еще один рывок! И снова Красный наверху. Он рвет из Уркина черные клочья шерсти, черные отрепья мяса. Крик...

Уркин сдался.

Он лежит на спине, безвольно раскинув лапы. Пасть его

закрыта, и из уголка оттопыренных губ вьется змейкой на землю кровь.

Над ним, расставив лапы, готовый вырвать горло у побежденного врага, стоит, оскалив клыки, Красный — Пааш. Он наслаждается победой. Он гневно рычит. Он издевается. Его изголение доходит до предела. Он склоняет свою ощеренную морду к горлу Уркина, и вот-вот его клыки вопьются в мягкую беззащитную шею врага. Уркин все сносит. Он побежден. Но зрители ропщут. Снова раздается их гневное рычание, и Пааш поднимает голову. Он еще стоит некоторое время над уничтоженным противником. Он стоит над ним столько времени, сколько полагается для полного уничтожения достоинства противника в глазах присутствующих, соответственно его, Красного, положения в собачьем обществе.

Наконец Красный — Пааш — великодушно и столь же медлительно, грозно, но тихо рыча, с чувством собственного достоинства, удаляется.

Черный — Уркин — встает и, жалкий, злобный. стараясь проскользнуть незаметным, скрывается.

Поединок окончился...

„Хозяин Петрач"

Сама Петровская Коса, или правильнее — Петровская Кошка, состоит из песчаных невысоких бугров, покрытых лишь дикой травой и мелким кустарником. Путь вдоль нее к материку поэтому особого интереса не представляет.

Наши собаки бегут весело и быстро. Часто им приходится бежать или по брюхо в воде, или же просто плыть. Сильные отмели не дают местами итти лодке близко у берега, а бечева коротка. На ней мель не обойдешь.

Доехали быстро. Вот и материк. Здесь, у подножья гористого берега, с 1850 по 1856 год был расположен военный пост адмирала Невельского.

«Тщательно осмотрев берега залива Счастья, мы нашли, что Кошка, составляющая восточный берег этого залива, представляет единственную местность, к которой могут подходить суда с моря для передачи грузов. Почему 29 июня 1850 года мы и заложили здесь зимовье, названное Петровским», писал Невельской.

Зимовье разрушено, от него едва найдешь следы.

Здесь страшный для моряков норд-вест, ураганом наскакивающий на суда, бьющий их с силой и не унимающейся стихией, — здесь норд-вест крещен и получил свое

«имя». «Хозяин Петрач» зовут этот ветер. Он дует отсюда, от Петровской Косы, гонит суда на норд-ост, к пустынному скалистому берегу полуострова Шмидта. Там, если зазевается моряк, испортится мотор, встанет машина. «Хозяин Петрач» бросит на черные скалы безлюдного острова жалкую посудину промышленника, и только мокрые щепы да случайный обрубок мачты будут еще долго и тщетно биться о неприступный берег...

Недалеко от того места, где когда-то было Петровское зимовье, на морском берегу, находится зверобойная тонь власьевского колхоза «Волна». До вечера переписываем мы зверобойную бригаду колхозников, которые уехали из Власьева на следующий день после нашего приезда в село.

В Иски мы вернулись, когда уже совсем стемнело.

Рецепт

Началось все в день нашего приезда в Иски.

— Гиляки сибко боятся клопов,— об'яснил Хурк причины, заставившие его с семьей ночевать на чердаке.

— А как же мы?

— Вас клоп кусать не будет! — убежденно ответил Хурк, решив, что клопы не осмелятся кусать москвича.

Что нам оставалось делать? Хозяева ушли спать наверх, а мы нарвали свежей травы и оставили гореть на ночь свечу. Обложились, как покойники, мокрой пахнущей травой и тихо спали. Под полом возились крысы, визжали щенки — и никаких клопов! Трава подействовала. Насекомые не любят запаха полыни.

Наутро явился Хурк. Он осмотрел нары, с которых мы всю траву смели на пол, и, приказав женам подмести избу, сказал:

— Ну как, клоп не кусаль?

— Нет.

— Вот, правда, я говориль — кусать тебя не будет. А гиляка сибко кусают. Гиляки сибко боятся клоп.

Мы перемигнулись с Захаровым.

— Хурк! А я секрет такой знаю, чтобы клопы не кусали.

— Ну! Скажи скорей.

Немного «поломавшись», чтобы заинтересовать Хурка, чтобы «номер» удался, начинаю об'яснять:

— Клоп травы боится. Понимаешь? Надо делать так: вечером нарви травы, она мокрая, росистая. Траву настели на

пары. Поверх положи брезент или одеяло. Тогда и спи. Клоп пойдет к тебе, траву понюхает, чихнет и убежит.

— Правда, чихнет?

— Правда! — убежденно сочиняем мы. — Сами слыхали.

— И все?

— Нет, не все. Как утром встанешь, траву надо на пол сбрасывать. Обязательно сбрасывай, а то клоп с полу уйдет, а потом снова вернется. Его ведь выжить надо. Как на пол сбросишь траву, пускай мамки (то есть жены) выметут чисто-чисто, чтобы ни одной травинки не было. А вечером снова травы принесешь. Каждый день так делай, и хорошо будет.

— Хорошо!— радуется Хурк.— А можно зараз травы нанести и чтобы не выметать, пускай остается? Все равно трава одинаковая. Можно?

— Нет, нельзя.

— Почему?

— Гм! Почему? — «Что бы такое сказать, — думаю я. — Неужели поймал?» — Да, Хурк! Ты спрашиваешь — почему? Очень просто. Клоп хитрый. Если траву выметать не будешь, он к запаху ее привыкнет, и тогда травой его не возьмешь.

Хурк доволен. Он косит каждый день траву, тщательно ее разбрасывает, как советовал гость, по полу, и утром его жены чисто подметают. Попутно выметался и сор.

— Иногда пол мыть надо. Раз в три дня хватит,— говорю я. — Тогда клопы наверное издохнут. Кроме того они боятся керосина, солнца и воздуха, свежего воздуха.

— Не чихаль! — жалуется Хурк. — Совсем не чихаль клоп. Неужто живой остался?

— Что ты! Просто он маленький, разве легко услышать, как он чихает?

Хурк удовлетворен. Каждый день его жены метут избу. Не для того, чтобы было чисто. Нет конечно! Они метут, чтобы, как говорит гость, клопы не привыкли к запаху травы, чтобы можно было положить свежей.

— А зимой как? — неожиданно спрашивает Хурк. — Зимой травы нет. Что делать?

— Чаще мыть пол и чаще открывать дверь на улицу. А еще самое главное — воду чуть посолить надо, тогда уж наверняка подохнут. В этом весь секрет.

— Секрет, секрет! — радостно улыбается Хурк. — Самое главное, чтобы, значит, соль была..

О! Теперь он знает, как избавиться от клопов. Знает!



Это молодая дочь Непана. А наверху птицы, — те самые, которых так красиво вышивают разноцветными нитками гилякские женщины.

Потом, недели через две, мы встретили далеко от Петровской Косы одного гиляка, соседа Хурка.

— Ну, как Хурк живет?

— Сибко хоросо! — ответил гиляк. — У Хурка весь клоп помрал! Совсем помрал. Каждый день Хурк траву косит. Соленым водой пол моет. Сибко хоросо, — смеется гиляк.

Рецепт подействовал.

Сетин не хочет стричь косу

На остров Удд нас везет подвода первого ранга: легкая му, четверо гребцов, пятый запасной и рулевой. Уключины сохнут на воздухе. Ловким движением гребец в такт гребли снимает весло с тычка, запускает его в воду и потом одевает его обратно на тычок уключины. Весло «ходит» и не скрипит. Лодка идет быстро, легко.

Из воды на нас смотрят нерпы. Вот они подплывают совсем близко, и я достаю наган, но нерпы ныряют, уходят под воду.

Мы идем вдоль острова Удд заливом. Остров слева, справа материк. На острове вдруг из-за косогора выскакивает, словно из-под земли, сразу великолепный тонкий конь. Он свободен, без седла и узды. В лучах утреннего солнца его мускулистое тело горит, как золото, и лучи осыпают его стройную фигуру золотым каскадом солнечных всплесков. Конь смотрит на нас, ноздри его раздуваются, и, положив уши спокойно, легко перебирая стройными ногами, идет это лоснящееся золотом создание вслед за лодкой по берегу, не сводя с нее глаз. Он напоминает мустанга.

— Какой конь! Кто привел его сюда?

— Это наш гилякский конь! — с гордостью говорит сидящий на носу комсомолец. — Авринский он. Колхозника одного.

Вскоре конь уходит так же, как и пришел, сразу.

Мы останавливаемся. Отдыхаем. На острове ягод, как и на Петровской Косе, — тьма. Красная с белым мясом какф, безвкусная, несладкая, и такая же, но только черная, сикса. Гиляки любят ее. Ягода очень сочна и водяниста. Ею лакомятся медведи.

Мы едем дальше. Захаров уговаривает Сетина спеть. Тот соглашается, но просит, чтобы Захаров подал пример. Захаров поет. Он начинает петь по-тунгусски. Однако я слышу знакомый мотив. Что это?

— Захаров, что ты поешь?

— Нашу настоящую тунгусскую песню!

— Тунгусскую? Да ведь это «Дуня».

Захаров доволен. А вот запевает Сетин. Он тянет заунывный напев на полутонах, напоминающий тюркские мелодии. Только эта песня спокойна и лишена южной надрывности и экзальтированности. Вся его песня вьется вокруг одной-двух нот, однообразная, длинная, нескончаемая.

— Сетин! — говорит Захаров. — Давай острижем косу. К чему тебе, молодому парню, как девушке, коса?

Сетин хмурится. Молчит.

— Правда, давай острижем, — настаивает Захаров. — Зачем тебе коса?

— Зимой надо, — увертывается Сетин. — Сибко холодно зимой! Вот, — он, как змеей, обвивает косой шею, — теперь тепло! Без косы гиляки не могут.

— Зачем ты говоришь неправду, Сетин? Смотри, вон Тофк, комсомолец, у него стриженые волосы, и ему не холодно! А потом ведь мы знаем, что гиляки зимой, когда пурги нет, шапку с головы совсем снимают и даже рукавицы затыкают за пояс. Верно?

— Верно.

— Ну, так чего ж ты путаешь? Почему косу стричь не хочешь?

— Нельзя, Захаров, стригаться. Все стойбище смеяться будет. Старики прогонят. В дом не пустят, юколы не дадут. Сибко плохо будет...

— Не дело это, — агитирует Захаров. — Отсталость свою бросить не хотите. Надо «стригаться». И никаких. Пускай смеются. Пускай сердятся старики. Посердятся и привыкнут. Я тоже был таким же, как и вы, ребята. Да, да, таким же. Правда, я не носил косы. У нашего народа, у тунгусов, такого обычая нет. Но по жизни и по всему был я, были мы, тунгусы, вроде гиляков темные, забитые...

Вторая жизнь

— Это было восемь лет тому назад. Новый закон еще не прошел тайгой в наши селения и не присел хорошим гостем у наших очагов. Родовой совет управлял стойбищем. Старые, лукавые, много знающие тунгусы, хозяева оленьих стад, говорили те слова, которым мы верили, слушались.

Восемь лет назад из города Хабаровска, столицы края, к нам пришла весть. По стойбищам послали просьбу: отправить в город от каждого селения по два молодых туземца — якута, негидальца, чукча, ненца, удэгейца и гольда. В сто-

лице решили собрать молодежь, научить их новому закону и новой жизни.

Сели наши старики-богатеи, стали думать, кого послать. Отправить своих детей — верное дело, не выдадут, не проведешь их. Но страшно. Погибнут в городе дети. Убьют их, в тюрьму посадят. Побоялись они послать своих детей и решили: пускай наши пастухи поедут. Если, мол, не вернутся, пропадут — не жалко. Но все же на дорогу дали ножи — пригодятся. «Бойтесь! — сказали старики. — В городе опасно. В городе война, грабят... Никуда не ходите по одному. Все вдвоем. Иначе обкрадут, убьют вас. Смотрите, не заболейте. Не верьте никому».

Захаров умолк. Ребята, подняв весла, слушали.

Невольно вспоминаешь, как мы, горожане, собираемся даже в сравнительно недалекий путь. Отправляясь в «некультурные, глухие» уголки нашей страны, мы тоже берем с собой ножи, револьверы, аптечки, еду. Мы запасаемся всяким скарбом и страхом. Мы боимся людей и опасаемся природы...

— Мы с приятелем поехали. Добрались до берега и сразу сели на пароход, шедший на Благовещенск. Мы боялись людей и кают. Везде нам чудились нападения, убийства.

В Благовещенске нас встретили на пристани и увели в райком комсомола, устроили с ночевкой и велели притти завтра. На следующий день мы не пришли. Три дня бродили мы по городу и не могли найти здания райкома. Прохожих спросить мы боялись. Но память у нас была хорошая, дома мы кое-как запомнили и, как потом оказалось, три дня кружились вокруг того квартала, где и находился райком. Наконец на нас обратил внимание милиционер. Он спросил: «Чего вы тут, ребята, бродите? Или что потеряли?»

Райком был найден.

В городе нас сначала поразило, что русские едят масло без хлеба. Кто-то из комсомольцев угостил нас этим маслом, и оно оказалось очень вкусным. Это было мороженое.

Мы принесли с собой все то, что накопили наши отцы за их тяжелую жизнь, что было передано ими нам, их детям. Мы принесли с собой ненависть к тем, чьих оленей нам приходилось охранять. Мы пришли темные и злые. Мы хотели другой жизни, но не знали, где она и какие дороги ведут к ней.

Вот вы живете тут, на самом краю света. Дальше — море, океан, и только за ними огромная, чужая страна. Вы об'единились в колхозы, но вы носите косы. У ваших отцов по две

жены, и тайком от русских, прячась, они приносят перед путиной богу моря жертву

Мы тоже были такими. Тунгусов окружала тайга и горы. Страну их пересекали реки, и зверь подходил к нашим юртам, боязливый и любопытный. Спокойная жизнь текла в этих юртах. День уходил, и его сменял такой же, как прошедший. Одни рождались бедными и бедными уходили в землю. Другие владели стадами оленей, и эти стада оставались их детям, и дети владели оленями, как их отцы. Казалось, что так останется навсегда. Жизнь, как колеса заведенной машины, двигалась равномерно и одинаково. Кому может притти в голову, что вдруг сразу машина встанет и те же колеса завертятся иначе?

Тунгусов крестили, заставили верить в чужого бога и дали для разговоров и жизни два слова: «водка» и «табак».

И вот мы попали в город. Мы узнали новые слова нового языка: «товарищ», «тузрик», «интеграл», «социализм». Мы жили в городе, учились. Тяжелые дни работы шли один за другим, и все они были разные, непохожие друг на друга, потому что каждый день мы узнавали новое. Тогда-то мы поняли, куда надо итти нашему народу и что делать.

Учиться было трудно. Сидеть приходилось за неудобными столами, на высоких стульях. А карандаш! Сколько пришлось намучиться с ним! Он ведь не кнут, не палка! Маленький, тонкий, сначала его было трудно держать в руках. Он все норовил упасть на пол или скривиться так, чтобы под ним вырастали совсем непонятные закорючки, а не буквы. Нам нехватало тайги, озер, островов. Вечерами мы собирались друг у друга в комнатах, запирали на замок дверь, стаскивали одеяла с кроватей на пол и садились поболтать у негорящего костра нашей родины. Так мы проводили ночи. Были ребята, которые скучали, тосковали еще больше и тайком, собрав у товарищей денег на дорогу, убегали к себе домой.

Они вернулись скоро. Родина осталась прежней, леса, олени остались прежними, а мы хоть совсем немножко, но все же выросли, и родина стала как будто чужой. Надо было переделывать родину.

Мы привыкли к городу. Там оказалась наша вторая родина. Вот кончилась учеба, и ребята поехали в разные концы, в разные стороны. Одни в тайгу и к берегам морей учить своих сородичей новой жизни, другие в Россию, в большие города, Москву и Ленинград, учиться. Они будут врачами, капитанами. Они будут строить дома и управлять страной...

Так началась наша новая, вторая жизнь...

Мы верили в бога. Теперь эта вера разрушена. Мы не верим. Мы больше чем верим — мы знаем.

Я уехал в Ленинград. Учился. Там есть большой, большой дом. Больше вашего стойбища. В нем учатся туземцы. Они знают таблицу умножения, умеют писать. Они изучают замечательные науки о камнях, воде, солнце, лесах и людях. Они знают, откуда бежит Амур и как рождается зверь. Они знают, из чего приготовляется порох и почему не тонет большой, железный, тяжелый пароход. Они знают, из чего состоят камни и что нужно сделать с землей, чтобы из нее вырос хлеб. Они изучили природу, горы, тайгу воду и, как русские, научились и умеют управлять машинами, добывать из земли уголь, огонь, заставлять воду работать на человека, на себя, и землю, которую ваши отцы боятся копать, они избороздили, вспахали машинами, и земля родит им рожь, из которой делают муку, родит хлеб, рис, чай, табак, сахар...

В том замечательном доме мы, туземцы, узнали другие тайны, невидимые глазу Мы изучили новые науки. Науки о людях. Камень лежит на дороге. Его можно пихнуть ногой, кинуть, взять в руку. Его видно. Его видно даже тогда, когда он летит или падает. А вот человек живет с человеком рядом, между ними что-то есть, но что — глазом не видно. Сетин, например, непрочь «стригать» косу, а не стрижет! Почему? Да очень просто: он боится! Боится, что изменится то, что не видно глазу, что он чувствует сегодня, всегда, ночью, днем, даже когда он один в море. Он живет рядом с отцом, с соседом — гиляками стойбища. С ними его связывают работа, жизнь. И хотя каждый живет как хочет, но в то же время в своих поступках каждый считается с мнением отца, соседа и остальных жителей стойбища. Невидимые глазу нити соединяют людей, и как узелки, сделанные умелой рукой, связывают хлопковую дель в огромную сеть, невод, лангр-кэ, так они соединяют людей — богатых с богатыми, бедных с бедными.

Посмотрите на сеть. Она может быть из хлопка, из манильского джута, пеньки и льняного шпагата. Так и люди могут быть русскими, гиляками, французами и японцами.

Но все-таки что же это за нити, таящие в себе такую силу, что они могут связывать людей вместе? Эти нити — отношение людей друг с другом. Их не видно глазом, но они управляют жизнью. И Сетин, боясь нарушить установившиеся отношения в стойбище, установившийся порядок и обычай, носит косу. Вот почему я просил его остричь ее. Когда он

острижет свой «хвост», ножницы, перерезавшие его волосы, перережут в нем нити, на которых подвешен в человеке страх. Сетин станет смелым.

Мы изучали науки о людях. Нам об'яснили, что такое человек, какие люди живут на земле и какие отношения связывают их друг с другом. Мы, зная человека, людей, как знали камень и воду, можем изменить эти отношения, как мы этого хотим. Ведь умеют же люди владеть камнем! Все это потому, что нас больше, у нас сила и право.

Вот чему научили туземцев в огромном доме, который больше вашего стойбища. Этот дом стоит в городе Ленинграде. Он далеко отсюда. Он называется Институт народов севера.

— А старики? — спросил Сетин. — Старики что?

— Они были правы, — ответил Захаров. — По-своему они были правы, когда говорили, что в городе убивают. Нас, темных, забитых инородцев, уничтожили. К жизни родились новые, грамотные... Они правы по-своему конечно, наши старики... Мы вернулись в стойбище, в юрты, к очагам и уничтожили их старческую силу, служившую темноте и несправедливости. Они, лишенные силы, стояли в новой жизни, как орел на камне, но с выщипанными перьями.

Однажды я бродил по Ленинграду. Свернув в какую-то улицу, вышел на площадь. Передо мной стоял скалой увенчанный золотом собор, великолепнейшая церковь Исаакия, русского святого. А там, наверху, на куполе, огромном и позолоченном, стоял крест.

Птица, взлетевшая на крест, становилась невидимой с земли. Так далеко было до верха. В соборе не бывает службы. Он стоит в городе напоказ людям. Люди смотрят и видят, какое изумительное, большое здание смог выстроить человек. Я вошел туда. Служащий показывал посетителям собор. Мы ходили, смотрели, слушали. Потом, под конец, стали подниматься по каменной лестнице вверх. Шли долго. Лестница кончилась, и началась другая, узкая, железная, крутая. Солнце припекло стены, в которых была проложена лестница. Итти было трудно, душно. Но мы шли. Некоторые вернулись обратно. Они боялись итти наверх, устали. Мы упорно поднимались: все выше и выше. И вдруг лестница кончилась. Мы вышли на маленькую площадку и замерли: под нами был город. Держась за железные поручни, мы смотрели с высоты этой золотой скалы на город, который, как море окружает остров, крышами домов окружал церковь. Кругом был ветер, голубое небо, а наверху, над золотым крестом, солнце. Мы стояли на небе. Смотря на город, я понял

тогда, что, взобравшись на эту скалу, исчез пастух Захаров и новый человек сойдет вниз.

«Вот! — сказал человек, стоявший рядом со мной. — Смотрите! Тунгус взошел на Исаакиевский собор! Отсюда, с высоты старого здания города Петербурга, он видит новую жизнь города Ленина. И также его, взобравшегося на плечи старой мудрости человечества, мы проведем, как равного товарища, по нашему пути — в наше общее будущее...»

Так кончилась старая и началась наша новая, вторая жизнь...

В Москве течет река. Ее зовут Москва. В теплые дни ее вода поднимается на воздух облаком и разносится по всей земле страны. Облако тает дождем, и дождевые капли падают в далекие от Москвы реки. Селемджа впадает в Зею. Зея спускается на юг и под Благовещенском вливается в Амур. Селемджинская вода, в которую попали капли из реки Москвы, плывет по Амуру. Она смешалась с амурской водой и, огибая Лангр, приходит к вам, к Петровской Косе, к острову Удд, к далеким Шантарским островам. Мы плывем по этой воде.

Ваше рождение уже наступило. Вы зовете себя Нибах. Это значит — человек. Раньше это слово звучало как прозвище. Человек — это слово гордое и звонкое. Теперь оно зазвучит правдой, великой правдой настоящего.

Теперь вы будете настоящим народом Нибах!

Ребята снова берутся за весла. Скамейки для гребцов расположены на носу лодки. Четыре пары весел враз поднимаются над водой.

Раз! И лодка снимается с места, движется все скорее и скорее и наконец стрелой несется по стальной поверхности воды. Гиляки гребут четко, будто один человек поднимает все весла сразу.

Мы под'езжаем к стойбищу Авры.

Глава шестая

ЗВЕРОБОИ

Анекдоты

Отделенный небольшим проливом от материка, длинной лентой вытянулся вдоль его берега остров Удд. Здесь, на берегу пролива, среди чахлых кустарников и невысокой травы, расположилось стойбище Авры. Как и в Исках, встречают нас злобные, ворчащие псы. Заходим к Тобайну. Изба богатая, крепкая. Ставлена из огромных бревен. Такую стену никакой ветер не продует. У избы холодная бревенчатая пристройка. Здесь из кирпича и камней сложен очаг, сушится юкола, пузыри нерпы и натянутые на деревянные рамы кожи морского зверя.

— В Аврах все хорошо живут, — об'ясняет Сетин. — У всех такие дома хорошие.

Нас встречают жены Тобайна. Одна что-то шьет, а другая качает маленького ребенка. Ребенок, укутанный в тряпье, лежит в деревянном корытце, затянутом сверху сетевой делью. Ребенок привязан к корытцу. Само корытце подвешено двумя веревками к перекладине, закрепленной под потолком. Передвинув веревки, мать ребенка может менять положение корытца: иногда ребенок стоит, а иногда полулежит, а иногда его укладывают совсем. Под корытцем привязана корзиночка из бересты, куда ведет отверстие, сделанное в дне деревянной люльки.

— И чисто, и хорошо, — говорит Сетин. — Парниску развязывать не надо...

Тобайна нет. И вообще в стойбище, кроме женщин, никого не осталось.

— Все ушли на тонь [1], — говорит женщина, отрываясь от шитья. — Ставник чинят

Решаем перебраться на тонь. Там и жить будем. Все равно гиляков в стойбище не перепишешь — путина. Мы пересекаем остров. Он неширок, километра полтора. Выходим на морской берег острова. Тут промысловое жилье авринского

[1] Тонь — место лова рыбы у берега.



У второй жены Тобайна родился ребенок.

колхоза «Поми». Около него с сетями возятся гиляки. Берег ровный, усеян мелкой галькой. С пригорка, где стоит жилье, хорошо виден, километрах в двух к югу, рыбный промысел Амургосрыбтреста и на таком же расстоянии, только на север, зверобойная тонь Дальморзверпрома.

День солнечный, хороший. Быстро проводим собрание и приступаем к переписи. Надо торопиться. Первый ход рыбы уже прошел и скоро, на-днях, должен начаться второй. Тогда перепись не проведешь — люди с утра до вечера будут работать. Сейчас гиляки возятся со ставным неводом. Они разматывают пухлые букли мотков дели и тонкими, вырезанными из дерева утками, напоминающими собой обыкновенный бегунок с хлопчатобумажной фабрики, плетут, чинят сеть.

Перепись идет хорошо. Скорее, чем в Исках. Мы уже имеем опыт работы с гиляками.

Гиляки работают спокойно, без торопливости. Впрочем, спешить им некуда. Они вполне успеют починить и поставить ставник до хода рыбы. Остальное — организация бригад, распределение обязанностей, специальной непромокаемой одежды и службы кунгасов — давно закончено. Гиляки спокойны за будущее. Только бы рыба шла.

Не обходится конечно без анекдотов.

— Сколько тебе лет?

— Чорт его знает!

Гиляки любят это слово.

— Сорок пять, да?

— Вот-вот! Правильно. Как раз так будет!

Впрочем, скажи пятьдесят, ответ будет тот же. Если тебя не понимают или не знают, что ответить, то подтверждают все, что бы ты ни говорил.

— Лошадь есть?

— Нет.

— А олени?

— Тоже нет.

— А верблюд? — спрашиваю я.

— Верблюд?

— Знаешь, верблюд?

— Знаю! Прошлый год один сюда зашел...

У меня падает карандаш.

— Прошлый год один вирплюн сюда зашел...

— Какой вирплюн, ты с ума сошел!

— Ну, вирплан, — поправляет другой гиляк. — Летает значит!

— Самолет! — И мы все смеемся.

Вообще литература создает неправильное представление о гиляках как о народе примитивном, неразвитом, с бедным фольклором, негибким мышлением. Гиляки большие любители не только смеха, но и иронии. Они высоко ценят образную, красивую речь, талант умелого рассказчика.

Когда гиляки ушли в стойбище обедать, мы составили колхозный бланк. Все идет гладко. Председатель правления колхоза «Поми», что значит «дельфин», гиляк средних лет, добродушный, с круглым бабьим лицом, по имени Пинь, толково отвечает на все вопросы, застенчиво теребя цветную вышивку нерпичьих торбазов.

— Пинь, скажи, кто у тебя члены правления?

— Не знаю.

— То есть как не знаешь?

— Потеряль.

— Что-о?

— Говорим — потеряль, которые члены правления. Вот слушай. Прошлый год выбираль правление и протоколь в интеграль повезли. Когда назад домой ехаль, мало-мало протоколь потеряль. Теперь и не знаем, кто члены правления. Что делать будешь?

Зверь идет!

Петька сидит в наблюдательной вышке, и весь зверобойный промысел перед ним, как на ладони. Домик, палатки, горы пустых бочек, навес, ворот для невода. На воде, купаясь в волнах, прыгают на длинных, якорных канатах кунгасы и серые катера.

Набегают тучи. Падают первые, нерешительные капли дождя. Волны морщатся. Дождь. Еще рано. Только что вылезло из-за горизонта солнце и, окунувшись с головой, потонуло в тучах. С моря дует свежий, холодноватый ветер, и от него идет рябь по волнам, от него взвиваются белые гребни. Кругом — сон. Спят рабочие, матросы на катерах, спит неводчик, даже шавка, обыкновенная неездовая собака, дремлет под лестницей. Только один Петька, бодрствуя, то и дело поднимает к глазам болтающийся у него на шее бинокль, бродит им по мутным волнам, по далекому горизонту и, оставив его висеть на груди, снова предается приятным воспоминаниям.

— Эх, место у нас — благодать одна! Ровное. Выйдешь в поле — от села до села блюдечко, гладь одна! Рожь — во! До плеча.

— Что ж ты, Петька, в дозоре стоишь, а сам мечтаешь? Упустишь зверя.

— Не-е! Нам зверя упустить никак невозможно. Потому зверь — она заметная, белая.

— Знаешь, Петька, я вот никогда зверобоев не видал. Думаю, приеду, посмотрю.

— Ну.

— Вот и ну! Приехал, а ты обыкновенный оказывается...

— Какой обыкновенный? — обижается Петька. — Что ж нам оловянным, что ли, быть?

— Зачем оловянным. Просто думал другие зверобои. В книгах совсем иначе зверобои выглядят. В книгах...

— За книгу не мы отвечаем, — прерывает Петька. — Не мы книгу писали!

— Но все-таки, Петька, поскольку ты зверобой, так конечно здешним должен быть, а если приехал сюда, так издалека.

— Это верно, издалека. Что верно, то верно!

— Так про какую ж ты рожь говорил? Разве на Чукотке рожь растет?

— Зачем Чукотка! Рязанский я. С колхозу «Красный пахарь». Комсомолец. Вот и попал сюда на подмогу ребятам, план выполнять.

— А ребята откуда?

— Ребята разные. Есть здешние, а то наши, рязанские, с Крыму есть, с Кавказу, с Сибири. Всякие. Ничего, работаем. План у нас шестьсот белух, а мы уже его весь выполнили. Триста встречным добавили. Только, если так все пойдет, план-то до конца путины раза в два превысим. Потому работа у нас хорошая, неводчик у нас на все побережье славится. Да и ребята маху не дают. Вот как! А ты думал — мы, как в книжках? С гарпунами? Знаем, знаем, тут один приезжал из города, рассказывал, какой такой зверобой есть. Только ты это брось, некогда нам с гарпунами возиться. Ведь у нас предприятия! Вот что. Насчет ножей, правда, в нашем деле нужны. Водку пить можем, потому — условия работы тяжелые. Сырость — по горло в воде! А вода — ну — довольно здесь холодная. Опять же ветер. Выпить можно, это да. А так, что ж, рабочие мы...

Петька вздохнул и уставился в море. Дождь перестал. Чуть штормило.

На прибрежных камнях сидели, оттопырив белую сорочку груди, недвижные птицы.

— А ты белуху видал? — спросил Петька.

— Нет. Вот пришел посмотреть.

— Тебе, наверное, любопытно будет. А нам будто так, ни к чему. Привыкли. Зверь и зверь. Но все же большой, сильный. Пудов на сто — сто двадцать потянет. Да длины метров на пять-шесть. Зуб у него каждый по вершку выходит. Одним словом, вроде кита будет.

— А когда ловить будете?

— Когда придет. Он ведь вроде коров стадом ходит. Посидит, посидит в воде и потом наверх вздыхнуть выныривает. Потому что он атмосферным воздухом дышит, — об'яснил Петька, сделав ударение на «о». — Ему без атмосферного воздуха никак нельзя. А нам видно, белый он, зверьто. Ну, как разглядим, что стадо идет, так и ловим. — Петька уставился биноклем в море, долго смотрел не отрываясь, на волны и гребни, покрутил регулятор бинокля и, сделавшись сразу серьезным, тихо зашептал: — Идет. Идет, стервец! Вон, смотри! Вот завсегда после шторма и дождя к берегу подходит. Ишь, родимый, нагоревался в волнах-то! Холодищ-ша! А у берега будто и потеплее.

Он бросил бинокль и стал торопливо спускаться по лестнице.

— Идет! — шептал Петька, ловко перебирая деревяжки лестничных перекладин. — Зверь идет!

Кошельковый лов

Люди выскакивали из палаток и бегом направлялись к берегу. Вскоре на прибрежной гальке собрался весь промысел.

Петька поднял на ноги всех. Белуху разглядывали, строили предположения о размере стада. Неводчик Непомнящий, небольшой, спокойный человек, взобрался на вышку, чтобы как следует разглядеть зверя. Он спустился вниз, довольный и неторопливый.

— Собирайся! — сказал он рабочим по неводу. — Сейчас пойдем.

Охотское море славится своим непостоянством. В течение нескольких минут может налететь шторм. Еще недавно было серо и сумрачно на море. Еще недавно моросил дождь, и по морю ходили грязные, мутные волны. И вдруг прояснило. Появилось солнце. Море загорелось, засияло ослепительным блеском солнечных лучей. Стало изумрудно-синим и, постепенно светлея, у берега превратилось в голубое озеро. И вот среди сияющего великолепия моря снежными всплесками пены появились белоснежные, горящие на солнце белушьи спины.

Два катера, забрав с собой кунгас, мгновенно кинулись к ним, чтобы неводом перегородить дорогу зверю и окружить. Белухи играли в утренних лучах. Все чаще появлялись их белые спины над голубой равниной моря.

Огромным стадом, растянувшись на несколько километров, шел зверь навстречу катерам, навстречу смерти.

— Ходу! Дай ходу! — кричит Непомнящий старшине катера. — Уйдет ведь зверь!

Моторы и так работают надрываясь. Наши катера, кренясь, берут чуть правее в сторону и теперь идут уже не прямо, наперерез белухе, а наискось, по движению стада. Матросы заглядывают в машинное отделение и веселым матом подбадривают и без того запарившегося механика.

— Не подгадь, Вася! Неужто твою дурынду чурка с глазами обгонит! Вот срамота будет!

«Чуркой с глазами» зверобои зовут белуху. Ловцы нервничают. Огромные белухи часто выныривают из воды, вдыхают в себя с шумом воздух и снова окунаются в воду. Они играют, перегоняют друг друга, плещутся, эти сотни белоснежных подводных лодок, собравшиеся в одно гигантское стадо.

Ловцы злятся. Неужели обгонят? Неужели не обойдем? Они бродят по своим катерам, мешают механику частыми советами, строят предположения, курят. На кунгасе в десятый раз

неводная бригада, шесть человек, оглядывает невод. Он уложен на специальной палубе, уложен аккуратно, чтобы без задержки, плавно мог быть спущен в воду. Невод — это огромная сеть с километр длиной. Кроме того с обеих сторон невода имеются забежники — длинные концы, иначе — «крылья», за которые катера и тащат невод, когда он спущен в воду.

Мы отошли далеко от берега, километров на шесть, а может быть и больше. Вода скрадывает расстояние, обманывает. Борьба длится часами. Долгие, томительные часы погони держат в напряжении всех ловцов на катерах, кунгасе, на берегу. Зверь виден издалека. Он идет со скоростью от пяти до девяти узлов в час, приближаясь к берегу, но проходя от него на большом расстоянии. Катера, имеющие скорость в десять-одиннадцать узлов, идут наперерез зверю, заходят вперед.

— Работа мотора, — говорит Непомнящий, — должна быть беззвучна. Иначе белуха, обладающая великолепным слухом, уйдет назад в море. Поэтому для белушьего промысла годен не всякий катер.

Мы идем вперед. Мы обгоняем белуху. Сейчас наступает момент, когда, разойдясь, катера начнут преграждать зверю путь. Из рубки видно далеко вперед. Прямо «в лоб» на нас идет белуха. Непомнящий отдает последние приказания, и катера расходятся в стороны. Наш «Кошельковый № 3» — комсомольский катер Дальморзверпрома — уходит в море. «Кошельковый № 2» остается на месте с кунгасом. Мы тащим за собой в море забежный конец невода. Сначала трос виснет в воздухе, между катером и кунгасом, потом, когда пространство, разделяющее их, увеличивается, канат протибается, ныряет серединой в воду и плывет за нами, мокрый, отяжелевший.

Забежник весь сошел с кунгаса. За ним начинает сползать за корму кунгаса, в воду, сам невод. Ловцы наблюдают, чтобы он шел равномерно, не запутывался.

Катер уходит дальше в море, растягивая невод огромной преградой на пути зверя. Зверь — близко. Он не видит невода, не видит катеров, но слышит звук. Некоторое время белуха идет, попрежнему играя, в том же направлении, но вот тихий стук винта и машины «Кошелькового» разносится по воде сильнее, звучит где-то близко. Зверь настораживается, пугается и бежит. Белуха кидается в сторону, пытаясь уйти дальше в море. Она идет параллельно с нами, и катера дают полный ход вперед. Мы все навалились на один борт, и «Ко-

шельковый № 3» кренится набок. Старшина лается из рубки длинно и грозно.

Катер должен обогнать зверя.

Белуха идет совсем близко. Огромные белые тела выскакивают из воды, на секунду показываются в воздухе, с шумом вбирают в себя воздух и снова уходят вглубь. Некоторые пускают в воздух фонтаны воды. От частых вздохов зверя виснет над морем легкий шум. Под мощными ударами белушьих хвостов вода рассыпается искрящимися каскадами брызг.

Наконец белуха замечает катер. Она отступает и в паническом страхе бежит назад, туда, откуда она приплыла. Но поздно. Невод, как крылья, распластался в воде, и «Кошельковый № 3» уже обходит белуху. Развернувшись, далеко от нас, но параллельно с нами, полным ходом идет вперед «Кошельковый № 2» с пустым кунгасом, буксируя другой конец невода.

— Надо обязательно красить катера в белый цвет, тогда белуха не будет их бояться, предполагая, что это идут свои, звери, — говорит Непомнящий. — Теперь смотрите — начинаются скачки...

Испуганный зверь бежал. Катера, разойдясь на километр, быстрые и сильные, тащили за собой невод, напиравший плетеной стеной на белуший косяк сзади. По бокам, как часовые, шли, слегка выдаваясь вперед, катера, не давая уйти зверю. Огромные туши суетились в воде, ныряли, выскакивали. Частые вздохи носились по воздуху, вода, где теснился зверь, кипела белой пеной. Зверь убегал.

Тяжелый, намокший невод камнем тянет катера назад, мешает развить ход. Наступает самый ответственный момент лова. Катера должны не выпустить зверя, должны окружить его. Происходят форменные скачки. Разгораются страсти. Белуха, часто выныривая из воды, плывет очень быстро, и ожидающим на берегу в ажиотаже и волнении рабочим промысла кажется, что катера отстают. Рабочие кричат с берега матросам, но крики их не долетают до катера. Они машут кепками, флажками, но мы далеко от берега и не видим их. Да нам самим теперь не до берега, не до них. Мы тоже волнуемся за исход борьбы. Мы лезем к борту, смотрим в воду, наклоняемся к ней, будто хотим нырнуть. Зверь идет рядом, возле катера.

Обойдем или нет?

Но скорость рассчитана. Катера ускоряют ход «до полного». Зверь отстает. Стадо, охватываемое неводом, сжимается тес-



Одну за другой вытягивают зверобои канатом огромные туши зверя на берег.

нее. Белухи мешают друг другу плыть, мечутся, толпятся, и исход борьбы становится ясным.

Катера обогнали белух. Невод уже не только преследует зверя сзади. Двумя стенами, влекомый катерами, вырос он по бокам стада.

Единственное открытое пространство прямо впереди косяка недостижимо для белухи. Катера перегоняют зверя и, приближаясь друг к другу, постепенно замыкают кольцо невода и, когда концы его сходятся вместе, поворачивают к берегу.

За катерами в мешке, образованном неводом, или, как его тут называют, «кошельке», в буре брызг и пены идет стадо плененного зверя. Белуха пытается уйти вниз, под невод, но он устроен так, что нижняя часть его, стягиваясь тросом, пропущенным сквозь кольца, образует сетяное днище кошелька.

Белуха поймана.

Уже близко к вечеру. Охота затянулась. На нее ушел весь день. В кошельке плавают штук восемьдесят пойманных белух. Теперь начинают свою работу береговые бригады. Они «вычерпывают» зверя из кошелька на берег небольшим неводом. Зверь подтянут к береговой мели. Рабочий подходит к белухе и сразу, надев на хвост зверя петлю, отскакивает в сторону. Белуха яростно бьет хвостом. Огромная туша, весом в одну-полторы тонны, может изрядно оглушить ударом. Да и купание в холодной воде не представляет собой ничего заманчивого. Белуха привязана канатом. Рабочие вытягивают их на сушу, как бревна, ухватившись за канаты, и, кричат: «Раз, два — дружно! Раз, два — взяли!» Белухи хрюкают, точно кабаны, плещутся и, сопротивляясь, бьются с громадной силой.

Одну за другой, дружно, цепью взявшись за канат, вытягивают зверобои огромные туши зверя на берег. Их подвязывают на один большой канат за хвосты. Тут, на песке, ловкий и сильный в воде зверь превращается в безобидное, безответное хрюкающее бревно. Что поделаешь! Попал не в свою среду. Такое случается и с человеком...

Наконец вся белуха «вычерпана» из кошелька, вытянута на берег и, чтобы бьющийся зверь случайно не укатился в воду, чтобы прилив не унес белуху в море, подвязана за хвосты.

Вечер. Темнота приходит на землю. Весь день продолжалась охота на зверя. Гигантские туши лежат на берегу. Сказочная эскадрилья цеппелинов расположилась в ряд на земле. Их оставляют на привязи. Это последняя ночь белухи.

Они слабо, как бы нехотя, отмахиваются хвостами, вздыхают, и блестящая луна освещает их гладкую кожу, мягкие линии тела. Огромный рот белухи чуть приоткрыт, как будто зверь улыбается.

Белуха

Промысловой лов белухи на Дальнем Востоке, в Охотском море до сих пор, как и лов рыбы, был «пассивным». Пассивность лова определяется тем, что ловцы не выходят на зверя с сетями, как это делает Непомнящий, применяя кошельковый лов. Зверобои ждали, когда зверь подойдет к берегу. Тогда только невод, закрепленный одним концом на берегу, за другой, забежный конец заводился одним катером поперек пути идущего косяка. Белуха окружалась неводом и притонялась к берегу. Невод, прикованный к берегу одним концом, был страшен белухе, как человеку цепная собака. Чем длиннее цепь, тем страшнее пес. Но все же всякая цепь имеет свой конец. Поставьте перед самым злым псом так, чтобы цепь была коротка, бродягу — и пес ничего не сможет сделать ему. Цепь будет держать пса. Так же и тут. Зверь часто идет на большем расстоянии от берега, нежели может растянуться невод, и зверь недоступен ловцам.

С 1933 года на побережьи Сахалинского залива, как по островному, так и материковому берегам, начал практиковаться активный кошельковый лов белухи. Первым этот лов на побережьи ввел неводчик уддской зверобойной тони Непомнящий. Он первым вышел в море и, свободно маневрируя, стал охотиться за зверем, показавшемся в поле зрения дозорной вышки.

Непомнящий уже не ждет «у моря погоды». Он ждет, когда покажется в море белуха, и ловит ее, как только завидит.

Гиляки бьют белуху из обыкновенных ружей. Однако если белуха будет убита сразу, то она немедленно потонет. Поэтому охотник должен попасть зверю в позвоночный хребет. Тогда белуха некоторое время продержится на поверхности, и ее потом уже добьют гарпунами.

Вообще зверя — нерпу, сивуча — ловят несколькими способами. Гиляки подвешивают на длинной веревке крючки. Зверь проходит между крючками, раздвигает их головой, но при движении хвостовым плавником поддевается на крючок. Пытаясь вырваться, зверь бьется, вертится, и другие крючки вонзаются в его тело. Зверь попадает в плен. Иногда зверя бьют острогой. Способ скорее спортивный, чем промысловый. Острога — это длинная прямая жердь, сделанная из креп-

кого дерева. На ее конце, как на пике, устроен острый железный наконечник с зубьями, расположенными «елочками». На противоположном конце остроги сделана небольшая выемка с рогульками для того, чтобы острога удобно лежала в руке. Ее кидают, как дротик. Длинную веревку, идущую от середины остроги, охотник, дав ей свободно размотаться, держит в левой руке. Часто к этому свободному концу веревки привязывают высушенный и надутый пузырь зверя. Острога вонзается в нерпу. Убитый зверь тонет, но легкий пузырь не дает ему уйти под воду и, как поплавок, плавает над водяной могилой зверя.

Утро встает яркое, солнечное. По зеленому небу плывут облака и окунаются у горизонта в море. С острова ветер приносит запах травы и кустарников. Ветер щекочет прибрежную воду, и на ее гладкой коже появляется рябь. Зверобойный промысел начинает свой день. Безмолвные туши еще живого зверя лежат привязанные на берегу. Белуха устала биться. Всю ночь тщетно пытался уйти зверь в воду, плескавшуюся вот тут, близко. Звери лежат, точно выкинутые штормовым прибоем подводные лодки, гладкие, сказочные.

Они огромны и красивы. Молодые белухи сизые, цвета новой автомобильной шины. Взрослые ослепительно белоснежны. Самцы с легким синеватым, самки с желтоватым оттенком. Совсем маленькие детеныши — коричневого цвета. Постепенно они становятся сизыми.

Белуха—млекопитающееся животное, живородящее, относящееся к отряду китообразных, подотряду зубастых китов и семейству дельфиновых. Тело белухи продолговатое, до шести метров длиною. Туловище округленное, суживающееся к голове и хвосту. Хвост — это острые, симметрично расположенные лопасти. Вес белухи в среднем одна-полторы тонны, доходит иногда до двух тонн.

Самки приносят живых детенышей, выкармливая их молоком.

Голова белухи с маленькими синими, хорошо видящими глазами, небольшая, напоминает формой чурку. Когда белуха пролежит сутки на суше, то глаза ее вытекают, и по белушьей морде текут синие слезы. Обладая хорошими зубами, зверь не кусает ловцов и охотников. Однако белуха превосходно поедает кету весом в два-четыре кило.

На верхней стороне головы, там, где находится «затылок», у белухи расположено «дыхало», то есть отверстие, через ко-

торое она дышит атмосферным воздухом. Белуха выныривает из воды, вдыхает воздух и снова уходит под воду, где она может находиться по пятнадцати минут, до следующего вдоха.

Я вставляю в дыхало два пальца. Внутри расступаются мышцы. Ого, да это настоящий клапан! Из белухи через дыхало с глухим шумом, вырываясь, выходит воздух. Вынимаю пальцы, белуха вздыхает, раздувается, как наполняемый газом мягкий дирижабль, и смотрит на меня своими мутными глазами. Возле головы зверя «уши», то есть плавники. Засольщики говорят, что если очистить плавник, то там обнажится пятипалая, наподобие человеческой, кисть руки.

Шеренга белух редеет. Зверобои одну за другой тащут на прибрежную гальку туши зверя. Белуху перевертывают на спину, с боков подкладывают два небольших бревнышка, чтобы она «не заваливалась» на бок, луч солнца кинжалом скользит по ее мраморному животу, и наконец настоящий острый кинжал каленой стали вонзается в белушье тело и колет сердце. По белому мрамору течет кровь. Она появляется сначала медленно, потом течет сильнее и хлещет горячим потоком на камни, на песок, в воду.

Звери бьются, кричат. Их глаза, не привычные к земному свету, растекаются по белым ухмыляющимся огромным мордам синими слезами. Кажется, что белуха плачет.

Одна за другой умирают белухи. Кинжал вонзается в тело несколько агонических биений — и конец. Кинжал доходит до сердца, теплая кровь сильным потоком льет из раны, кровь струится вниз по песку, по камешкам, и кровь делает красной мутную прибрежную воду моря. Белухи лежат огромные, белые. Ножи разрезают их бархатную кожу, кишки выворачиваются грудой на камень, окровавленные люди копошатся в горячих телах, и — странное дело — белушьи рты улыбаются синему небу, огневому солнцу.

Подхожу к белухе. Она еще жива. Сейчас ее будут бить. Глажу чудовище по животу. У белухи нежная кожа. Глянцевая, ослепительно белая поверхность, настолько белая, что взгляд тонет в молочной глубине. Атласная кожа напоминает лайку. Однако это не кожа, а только «бронь», которая покрывает белушью кожу. Под бронью и находится крепкая, толстая кожа. Из нее приготовляются высокого качества приводные ремни, пергамент для гонков в текстильном производстве, хром для технических целей. В среднем выделанная кожа имеет от полутора до шести миллиметров толщины.

Под кожей огромный толстый пласт жира. Для того чтобы

понять, насколько ценна белуха, достаточно сказать, что жир ее, идущий на приготовление медицинского жира, жидкого и твердого пищевого жира и жира для различных технических целей и как смазочный материал для ответственных механизмов, составляет в среднем тридцать три процента к общему весу белухи, то есть около полтонны жира на каждую тушу.

Белуху режут ножи. Бронь, кожа и сало, жир — все это вместе, неразделанное, идет на завод, на остров Лангр и Люги.

Ножи срезают мясо — огромные куски мякоти, черные от крови. Мясо кладут на гальку. Оно стынет. В нем делаются надрезы, и оно натирается солью. Потом мясо кладут в бочки. Бочки везут в города, а там на заводах из мяса белухи приготовляют копченую колбасу. Вес мяса-сырца составляет двадцать пять процентов общего веса туши. Четверть белухи — вкусное, питательное мясо. Оно некрасивого черного цвета. Поэтому, когда зверя бьют, то спускают как можно большее количество крови. Тогда оно становится светлее, напоминая обыкновенное, говяжье.

— Если это мясо, — говорит засольщик Тумилович, — намочить, то оно станет розовым и нежным, как телятина.

Желудок белухи используется гиляками как жирохранилище. Кроме того желудки в сильно натянутом виде применяются для изготовления непромокаемой одежды.

Высушенные половые органы самцов экспортируются в Китай, где из них приготовляют лекарства.

Кости белухи могут дать ценнейший продукт, незамерзающее смазочное масло для смазки точных инструментов, предназначенных для работы в северных широтах. Но мы перерабатываем их на тук или кормовую муку.

Нас угощают сальтисонами, студнями, колбасами, приготовленными из плавников и мяса белухи. Непомнящий показывает нам великолепные, чрезвычайно крепкие на разрыв, выделанные кишки белухи.

Каждая взрослая белуха дает от восьмидесяти до ста метров кишек.

Неводчик Непомнящий, довольный и утомленный, оглядывает белушью бойню. Растет цифра улова зверя. Скоро придут за ними огромные халки, надуются паруса, и увезут корабли тяжелые шкуры зверя и множество бочек с мясом. Молодое дело — промысел белухи крепнет, несмотря на недостатки, и успешно занимает по праву солидное место в народном хозяйстве страны.

...Море у берега окрасилось в красный цвет. Кругом окровавленные туши, горячие внутренности. Лежат огромные хребты, с головами и хвостами, кажется, будто доисторические чудовища, гигантские ящеры, пригревшись, дремлют на песчаном берегу. А над ними, над кровавой водой берега, в теплом дневном воздухе, с визгом носятся чайки, маленькие серые «мартышки» хищными глазами жадно разглядывают свою ночную пищу. Когда стемнеет, они придут сюда клевать эти кости.

Мы идем берегом. У воды сидят маленькие кулики. Мы кидаем в них камнями. Они, глупые, не понимают, что надо улететь, и в страхе скачут впереди нас. А камни летят и летят. Смешно смотреть на этих птичек со стороны. Вот и белуха также сама залезла в кошелек невода. Ну почему они, глупые кулики, скачут, трусливо дрожат хвостиками, а не улетают в сторону?

Зимовье

Далеко, на севере, в сторону от дороги, от путей, по которым корабли плывут в порты Охотского моря, на Камчатку и Чукотский полуостров, на скалистом берегу стоит зимовье зверобоев мыса Литке.

Редкий катер заглядывает сюда. Пароходы темной шалью расстилают дым по горизонту. В ночной мгле блеснет иногда огонек на мачте, и лишь неугомонный ветер подолгу шепчется с волнами у берега. Пароходы скрываются за горизонтом, тает над водой дым, и одинокие скалы берега, как верный пес руку хозяина, холодным языком волн лижет море.

Иной раз прибежит торопливый и юркий катер, попыхтит тоненькой трубой, привезет новости, почту и, забрав с собой груженные зверем кунгасы, уйдет обратно к людям, островам... Катер увозит зверя и радость нарушенного одиночества.

Зимой, когда побережье окутывает мгла снежных метелей и ураганов, когда скалы и воды сковывает лед, в небольшом зимовье остаются люди. Они живут здесь одни, отрезанные от мира, от людей и городов. Они живут здесь, хотя любят жизнь не меньше других. Хижину их засыпает снег, ветер, как голодный волк, бродит под окном, и нежданный гость, остановивший свою нарту возле зимовья, приходит радостным нарушителем долгих месяцев ледяного безмолвия.

Дни зимы идут один за другим. Снег заносит таежные тропы, погружая в белый сон землю.

Утром люди выходят на улицу и лопатами прорывают в глубоком снегу проход. Снег достает до крыши. В тихие дни люди уходят в тайгу промышлять зверя.

Весной на лед из воды вылезает погреться зверь. Стада морского зверя, расположившись на бирюзовом льду, нежатся под согревающими лучами солнца. Тогда начинается зверобойный сезон. Зимовщики бьют зверя, разделывают туши и ждут, когда уйдет лед. Тогда снова прибегает юркий катер, привозит продукты, почту и, забрав зверя, уплывает назад, увозя с собой богатую добычу зверобоев и радость нарушенного одиночества...

Посреди комнаты стоит печь. Это обыкновенная железная бочка. В ней сделано отверстие, прикреплена дверца и вставлена труба. Печь обложена снизу кирпичом, красным, старым. Седой подбросил в огонь короткие полешки. Смолистую березку охватывает пламя, береста шипит, над ней взвивается синий огонь, и тяжелые чурки начинают калиться кровавыми углями...

Зима была обычная, холодная, снежная. Прошло уже две недели с тех пор, как пурга окружила зимовье сплошной завесой вихрей. Две недели неистовствовала непогода, катала ураганы снежных волн по крутым скалам, сшибала с ног, врывалась холодным вихрем в распахнутую дверь. Пурга не унималась.

Люди заперлись в своем доме. Выйти из дверей было страшно. Ветер схватывал, валил на землю и, как соринку, унес бы в тундру, сбросил со скал, вниз, в оледеневшее море. Сотни раз принимались зимовщики за карты. Бренчала гитара, раздавался чей-то голос. Он наводил уныние и тоску. Гитара умолкала. Пили чай. Долго. Много. Пили, дуя в горячие стаканы и кусая белоснежные куски искрящегося сахара. Вспоминали. Говорить не хотелось. Все было переговорено. Вспоминал кто-нибудь один. Остальные слушали. Воспоминания уносили опять к тому же наболевшему: тепло, люди, город. Нет ни метели, ни одиночества. Можно выйти из дома. Можно. А у нас нельзя. Воспоминания обрывались, как только что умолкнувшая гитара. По привычке подходили к окну. Вглядывались. Окно было темным. Его занесло снегом.

Иногда унылое ожидание тихих дней пропадало. Его сменял трепет страха за другого, сознание беспомощности. Это

были минуты наблюдений. Строго соблюдая очередь, выходил дежурный из зимовья и, цепляясь за канат, привязанный к вбитым в землю колам, пробирался к метеорологической будке. Запомнив цифры показаний приборов, человек полз, держась за канат, обратно. В зимовье ждали. Малейший шум поднимал головы. Дверь не открывалась, и головы с тревогой никли. Каждый мог, уйдя, не вернуться.

В эту ночь пурга усилилась. Она ревела затравленным зверем, рвала с зимовья крышу. Снизу неслись оглушительные взрывы лопающегося льда, будто скалы сшибались друг с другом каменными лбами. Такое бывает или перед окончанием непогоды, или когда ураган достигает своей полной силы.

В такую рань даже в хорошую погоду было темно. Седой встал. Он, не торопясь, оделся, взглянув на часы. Набил трубку. Взлетела отскочившая головка спички. Он чиркнул другую. В зимовье было тепло.

— Ты не ходи, Седой, — сказал лежавший ближе к печке.

— Правда, Седой, не ходи.

Он покачал головой и ничего не ответил. Зимовщики проснулись. Не поднимаясь с постелей, ждали. Седой надел большую оленью шубу, с шапкой и рукавицами, подошел к двери и, обернувшись, сказал:

— Надо итти, ребята. Вот что.

Никто не ответил. В самом деле, не пойти сегодня — это значит можно не пойти завтра и послезавтра. Наблюдения тогда срывались бы, сводка погоды стала бы неполной. Итти было, действительно, нужно. Хотя бы для того, чтобы не лишиться этих последних, нужных, мучительных выходов на улицу, сознания того, что живешь.

Помощник Седого по промыслу, старик-засольщик, стал быстро одеваться.

— Ты куда? — спросил Седой.

— Да я так! — смущенно ответил старик. — Спать неохота. И вообще, на всякий случай...

— Всяких случаев быть у нас не может. Случай может быть только один. Или так, или эдак. Ложись, старик. Все равно не поможешь.

Седой огляделся, поправил шапку. Рука легла на железную ручку двери.

— Старик тут пока за меня останется!

Он распахнул дверь. В комнату ворвался белый сноп холодного воздуха. Сноп растаял в комнатном тепле. У входа никого не было. Глухо стукнула вторая, наружная дверь.

Седой ушел.

Как только он вышел из дома, пурга кинулась ему в лицо. Он наклонил голову и начал осторожно пробираться вырытым в снегу глубоким коридором. Он шел осторожно, медленно ставя ноги с каблука на носок, точно фехтуя, печатая ногу на замерзшем снегу. Над головой, над снежным проходом, несся оглушительный ветер. Небо было темным. Даже снег оставался невидимым.

«Ни зги не видно, — подумал Седой. — Ну и ночь!»

Проход кончился. Седой прижался к подветренной стороне коридора и, согнувшись, стараясь не высовываться из-за стены, протянул руку. Рука нащупала веревку, зажала ее крепко. Седой рывком шагнул вперед, и другая рука тоже ухватилась за крепкий трос.

«Ну, теперь как будто бы держусь. Надо только держаться так, чтобы, в случае если упаду, повиснуть грудью на веревке. Иначе — унесет».

Он сделал шаг. Медленный. Осторожный. Потом другой... Вспомните! В детстве вы считали своим излюбленным занятием скатываться по перилам лестницы вниз, навалившись на них грудью и прыгая через ступени. Седой шел так же. Он так же навалился на канат, скользя, повис на нем и шел вперед. Но он шел медленно. Ветер сшибал с ног, ноги скользили по гладкому, обметенному ураганом снегу, канат рвался из рук, и исполинская сила ветра тащила его в сторону, в темноту. Тщательно рассчитывая силы, стиснув зубы, пробился наконец Седой к приборам. Теперь надо встать. Поднимаясь, он вцепился в крепкую стойку. Он обнимал метеорологическую будку, как любимую. Он замер и, стараясь не шелохнуться, двигая одной только рукой, осветил фонариком приборы. Несколько раз повторил цифры. Не забыть! Только бы не забыть, не спутать!

Он шел назад. Пурга взвивала снег. Невидимые в темноте белые волны ходили по скалам, прибоем бились о камень и рассыпались снежными брызгами. Итти было невыносимо. Каждый шаг был непомерной тяжестью.

Седой добрался до колышка и, обхватив его, решил хотя бы на мгновение передохнуть. Но им овладело дремотное состояние, и, чтобы не заснуть, он пошел дальше. Вот уже середина каната. Тут трос прогибается сильнее, чем у колов. Здесь держаться труднее. Опять снег бьет в лицо. Опять одеревяневшие щеки раскалывает ветер ударами тупого топора. Снова скользит нога.

Седой упал. Канат внезапно прогнулся, словно спущенная

тетива ударила его. По рукам скользнул дрожащий трос, пальцы его разжались, и Седой покатился в темноту.

Подхваченный ветром, крутясь, перевертываясь, он тщетно пытался задержаться, вцепиться в заснеженную землю.

Ураган, отбросив его от зимовья, тянул за собой

Внезапный толчок заставил Седого сделать судорожное движение. Он уцепился за торчавший из-под снега куст и наконец перевел дух. Седой не терял сознания. Подхвативший его ураган был так стремителен, что ни одна мысль не успела промелькнуть в его голове. Все это произошло в мгновение. Сколько оно длилось, Седой не знал.

Он осторожно ощупал куст, за который держался. Потом стал вспоминать.

«Как будто их было два возле дома? — соображал Седой.— Один близко против входа, другой подальше, за бугром, перед скалами».

«Должно быть, меня унесло к дальнему, — решил Седой.— Уж очень велика скорость ветра. Ураган прямо».

Он прижался к земле, покрытой снегом. Так было легче держаться. Шуба еще сохраняла тепло.

«Ползти вперед — безумие! Вернее, просто глупость, — думал Седой. — Отпустить ветви?»

Он вспомнил черный, в белых снежных пятнах, скалистый обрыв в море и замер.

Нет! Ни за что! Он будет лежать тут, вцепившись в куст, пока не стихнет пурга или совсем закоченевшие руки не выпустят крепкие ветви.

Седой лежал. Время шло. Минута за минутой накопили один огромный час. А может быть, больше. Может быть, он лежит тут уже два, три, четыре часа? Седой не знал, сколько. Время, медленное, мучительное, тянулось без конца. Пурга не унималась.

Сколько может вылежать вот так брошенный в метель человек? Седой знал, что скоро он не сможет держаться за спасительные ветви. Под шубу начинает уже прокрадываться холод. Медленно, ледяным током он полз к рукам. Руки начинали ныть, хотелось бросить ветви, разжать пальцы и отдохнуть, отдохнуть в тепле, покое...

«Наверное зимовщики отправились на поиски», подумал он. Часа два-три назад ему даже показалось, что стукнула дверь.

Ну конечно это были они! Зимовщики вышли и, схватившись за канат, пошли по той дороге, с которой его унес ве-

тер. Пошли и вернулись. Разве можно в такую погоду отпустить канат?

Седой держится за ветви. Он устал. Совсем устал. Скоро придется отпустить эти ласковые, крепкие прутья. Уже сейчас ему больно держать их руками. Больно. Но надо крепиться. Ведь позади — скалы. Черные скалы берега и высокий обрыв. Вокруг вьется ветер и вздымает горы снега и треплет их, поднимая на воздух. Снег вьется вокруг Седого, порошит глаза, лезет под шубу, засыпает ноги. За снегом кидается остервенелый ветер. Кругом темнота. По-хорошему бы уже давно рассвело, солнце вышло, а сейчас ночной мрак, растаяв, сменился темным снежным туманом.

«Один, — думает Седой. — Совсем один! Вот как околевать приходится. Ребята погрустят, погрустят и забудут. А там, в той жизни, — он мысленно кивнул в сторону, — и не думают о том, что вот тут погибает человек. Им что? Тепло. Радость у них. Кто знает, чем живет в эту минуту зимовье!..»

Седой лежал лицом вниз, уткнувшись в снег. Над ним с ревом проносился ветер. Подобное может испытать человек, улегшийся на шпалы между рельс. Над ним с грохотом и визгом, лязгая железом, промчится поезд. Вот уже сколько часов незримые поезда неслись над окоченевшим человеком. Ветер гремел железом, визжал отвратительным, истошным голосом, и тут вплотную, рядом с человеком, над ним, неслись бесконечные, беспрерывные грохочущие поезда урагана. Ураган тянул его назад, отрывая плечи от земли, тянул за толстые, тяжелые полы шубы. Звуки пурги сливались в один сплошной, огромный вой. Будто все псы побережья собрались стаей и завыли одним хриплым, звериным, полным безысходной тоски голосом.

— Вот оно! — подумал Седой. — Конец...

Ураган прекратился так же, как и пришел, внезапным шквалом, унося взбаламученный, рычащий поток далеко за белые горы.

Седой дремал. Руки инстинктивно цеплялись за ветви. Они точно срослись с ними. Тонкие прутья впились глубоко в замерзшие кисти рук. Тишина разбудила его. Не поднимая головы, он прислушался. Поезда остановились. Грохочущий ветер умчался неизвестно куда, и разбежались псы. Тишина.

Седой приподнялся. Впереди — снежный бугор. Снег лежит ровный, небо светлое, в облаках, быстрых, плывущих ледяными глыбами по голубому морю. Внутри Седого что-то сжалось, и, не выпуская из рук ветвей, он упал на снег слабым, бессильным ребенком.

Он скоро пришел в себя. Мучаясь, с трудом разжал руки. Прутья впились в мясо, и кровь каплями стекала с них. Седой снова собрал силы и медленно пополз вперед.

Он не мог встать.

Вот уже вершина бугра. Еще немного — и он поползет вниз. Ой, как трудны эти последние усилия! Тело его ноет, ноги отказываются двигаться, и он ползет на руках, как ползет в свой окоп раненый в ноги солдат. Холодный воздух захватывает дух, ослабевшие руки подламываются, и он падает лицом в мокрый, рыхлый снег.

Вот и бугор. Еще немного... и, но что это за звук? Что это? Седой затрясся в последних усилиях и вполз на бугор.

Дверь зимовья распахнулась. Из нее выбежали зимовщики и кинулись к бугру. Седой поднялся, махнул рукой, хотел крикнуть, но не мог. Он смотрел на людей, бежавших к нему, на открытую дверь, и вдруг через белое поле, сквозь тихий, искрящийся мириадами блесков снегопад, поплыли навстречу ему громкие, сильные звуки музыки. Музыка пела в его ушах и плыла по холодному снежному воздуху. Седой впился глазами в открытую дверь. Он не видал людей, взбиравшихся к нему, на крутой холм, не слышал их криков, не видал дыма, теплого, серого, вертящейся струйкой поднимавшегося над крышей родного зимовья. Измученный, обессилевший, он замер на вершине бугра, ловя жадным, счастливым слухом молодой человеческий голос. Сквозь открытую дверь по снежному простору неслись сильные, полные радости жизни, счастливой жизни, звуки радио...

Далекий, незнакомый человек, нарушая ледяное безмолвие севера, посылал ему, вновь возвратившемуся к жизни, свой звонкий, дружеский привет. Прорвавшись сквозь тысячи километров пространства, через тайгу и скалистые вершины гор, человеческий голос звучал могучим, страстным призывом к великой битве за новую жизнь...

Это был зов человека к человеку.

Седой слушал. Потом силы вернулись к нему, и он пополз по бугру.

Светило солнце. Оно сияло на небе, точно праздник, и улыбалось и радостью тепла дарило землю. Белые снежные хлопья бесшумно падали на землю. Они искрились в солнечных лучах миллионами светящихся улыбок.

Глава седьмая

ОСТРОВ ЛАНГР

Завод

Опять небо занесло тучами, опять хмуро море и расходились волны. Барометр падает. С утра носятся над морем птицы, оглашая воздух криками.

Нам повезло. Наш маленький караван — катер и три груженных упромышленным зверем халки, взятые на буксир на мысе Литке, Петровской Косе и острове Удд, — бросили якоря у острова Лангр до начала шторма.

Половина пути пройдена. Проработав здесь, мы отправимся на Сахалин. Там, на северо-западном побережьи острова, вместе с Шумом мы закончим нашу перепись.

Остров Лангр находится впереди левого, северного берега Амурского лимана. Он поднимается над водой на несколько футов и напоминает собой плоскую лепешку, покрытую мелким, низкорослым кустарником и небольшими озерками.

Возле небольшой пристани — здание завода, рыбного промысла, жилые дома. В стороне — гилякское стойбище Лангр.

«Лангр» в переводе с гилякского значит «нерпа». Видимо, отсюда и происходит название острова.

Гиляки успешно промышляют нерпу в проливе между материком и островом и по морскому его берегу. Даже гилякский колхоз, летник которого находится на острове, называется «Нерпа».

Останавливаемся на промысле. До стойбища недалеко, километр. Остались на заводе. Поселились в столовой ИТР на полу. Промысел новый, комнат для приезжих нет. Рабочие и служащие живут в домах, бараках, палатках. Спят не только на кроватях, но и на нарах, на стульях, на полу.

Рабочие разгружают халки. Они поддевают небольшой лебедкой огромную шкуру белухи с броню и салом на крюк. Белая тяжесть висит над пристанью и опускается в железную вагонетку. Двое рабочих катят вагонетку в цех. Потом шкуру сваливают на забетонированный пол, обмывают, и на столах-эшафотах специальными ножами, с двумя ручками по обоим концам, срезают слой сала.



Почему не покурить рыбаку после работы?

Очищенные от жира кожи передаются в засольное отделение. Там производят предварительный подсол, квашение кож для того, чтобы освободит их от брони. Кожи складывают, как фотопластинки — эмульсия к эмульсии, бронь к броне, — в штабель.

Проходит пять-шесть суток. Мастер снимает со штабеля рогожи и тычет пальцами в бронь. Откиснув, она должна отставать от кожи. Кожу кладут на доску и нажимом деревянной лопаточки начисто очищают бронь. После этого кожи снова солят. Засоленные в штабеля кожи лежат десять-двенадцать суток в покое, после чего кожи очищаются от соли, укладываются в бочки или рогожи, слегка подсаливаются сухой солью и запаковываются наглухо. Укупоренное «место» маркируется, и товар готов к отправлению.

Снятое с кожи сало подается вагонетками к салорезке, дробится и в виде полужидкой массы попадает в приемный бак, откуда черпаками конвейера поднимается наверх, в салоприемник. Там сало загружается в огромные черные котлы — автоклавы. Между двумя стенками автоклава прогоняется пар. Жир, перемешиваемый специальными механическими мешалками, вытапливается, спускается в особые чаны — отстойники...

...Лебедка выгрузила все шкуры белухи. Один за другим взвиваются над пристанью черные крокодилы. Это кости белухи. Их увозят на тех же вагонетках. Дробят на костедробилке, загружают в автоклавы, где под давлением пара до четырех атмосфер они вывариваются. Потом вываренную массу, жидкость спускают в отстойники, сушат в туковой печи, сушилке. После сушки масса поступает на мельницу, и оттуда уже выходит готовый продукт — тук, или кормовая мука.

День идет к вечеру. Завод работает напряженно, без перерывов. Надо обработать зверя свежим, неиспортившимся. Снуют вагонетки. Из открытых дверей несутся звуки пощечин: это падают на мокрый пол срезанные куски сала. В салотопильном цехе жара, пышет от черных истуканов — автоклавов, лязгают черпаки конвейера, и тягучей, густой лентой льется из крана янтарный жир. За стеной стучит машина. Там, на дверях, по белому полю жести написаны черные буквы: «Вход посторонним воспрещен». Это силовая установка. Возле завода грудой свалены скелеты белухи. Они переплелись, спутались друг с другом. Торчат хвосты, головы, и кажется, что это не груда костей, а исполинские ящеры сплелись в ожесточенной битве чудовищ.

Вокруг шляются понурые собаки. Они пасутся. Псы пришли сюда из стойбища и, разрывая груды костей, как шакалы, пугливо и вздрагивая глотают белушье мясо.

Хлеб

На собрание явились все колхозники и даже «лишенцы»— бывшие шаманы и «екшплутаторы». Гиляки заполнили большой дом и, усевшись на нарах, скамьях, на полу, курили, разговаривали друг с другом, высказывались. Заседание началось с утра, и за весь день собравшиеся обсудили вопросы подготовки к путине, разбивки на бригады и перехода на «табеля».

Мы сели сбоку и, что называется, на ходу, пользуясь тем, что колхозники собрались, переписывали. Наше появление было встречено колхозом отнюдь не восторженно. Гилякам было не до нас.

Путина. Приближался ход рыбы. Надо было ставить невод, готовить кунгасы. Вечерами гиляки ходили по берегам и били рыбу острогой. Скоро ожидались «гонцы»— первые, идущие впереди косяка, посланцы-рыбы. И вот в эту пору приехали мы со всей статистикой, карточками. Приходилось работать лихорадочно, пользоваться случайными собраниями и ожидать подолгу возвращения с берега ловцов. Гиляков интересовала в это время только рыба.

— Ну вот, товарищи,— сказал председатель собрания Быков, оглядывая собравшихся ласковым взглядом,— есть к вам такое предложение. Муку вы получаете в интеграле?

— Получаете,— ответили голоса.

— Так. Но вы из нее печете лепешки. Они маленькие, невкусные, сырые. Промысел предлагает вам пользоваться его пекарней, то есть промысел будет получать вашу муку и печь из нее хлеб для вас. Вы будете брать в пекарне хлеб. Настоящий, вкусный. Хотите?

Гиляки стали шумно переговариваться. Потом один, председатель сельсовета Ерин, тот, который славился на весь колхоз тем, что устроил себе, как у русских, отдельно от своих жен топчан, спросил:

— А какая цена будет?

— Цена будет такая же, как и на муку,— ответил Быков.— Хотя печь хлеб стоит денег, но промысел решил этот расход взять на себя.

Гиляки снова поговорили, и Ерин сказал:

— Будем брать хлеб.

Потом они снова поговорили, причем один парень, тощий и туберкулезный, не выпускавший папиросу изо рта, — его звали Отман, — сказал:

— Однако лучше лепешки кушать!

Быков ждал. Долго. Терпеливо. Гиляки шумно спорили, и изредка или Ерин или Отман, каждый от своей группы, сообщали:

— Ладно. Однако хлеб лучше. Хлеб брать будем.

— Давай муку! Раньше брали и теперь так будет!

Сбоку у стены мы переписываем гиляков. Они опять не знают, сколько им лет, забывают о том, как зовут детей, сколько настреляли дичи и зверя. Некоторую помощь оказывает сельсоветская книга. В ней наивные записи секретаря, регистрирующие детей. Гилякам нравятся русские имена, и они дают их своим детям.

— Как звать сынишку?

— Аркашка!

Мы смотрим сельсоветскую книгу. Там так и значится: «Аркашка», «Тоня», «Лена», «Норма»...

— Норма? Это какая норма? Имя, что ли?

— Вот-вот!— улыбается счастливый отец.— Кака раз так! Зовут, значить.

— Да ты знаешь, что значит норма? — смеюсь я. — Ты где это слово взял?

— Как же! — сердится спрашиваемый. — В интеграль взяль!

Ему понравилось слово «норма», то есть паек. И он назвал им свою дочь.

Ставной невод

Гиляки ставили невод.

Уже несколько дней он сушился, раскинутый на берегу. Колхозники внимательно перебрали, зачинили его продранные бока. Сегодня невод готов. У берега лежат светлые, лоснящиеся, пахнущие соками деревьев мешки из рогожи с песком. Это якоря. Мешки туго перетягивают веревками и грузят на кунгас.

Наконец все—и женщины, и мужчины—становятся цепью вдоль невода. Они разом поднимают его на плечи, и невод, прогибаясь, свисает своим веревочным пузом между людьми. Ровным шагом гиляки несут шевелящегося змея к воде. Там укладывают его на корму кунгаса. Бригада весело прыгает в отчалившую посудину. С берега кричат, смеются. Кунгас

тихо уплывает, и серый невод, закрепленный одним концом на берегу, медленно сползает в воду.

Невод вытянулся от берега прямой стрелкой в море. Тяжелая, намокшая дель повисла на юрких, ныряющих в волнах поплавках. Многопудовые рогожные мешки, наполненные песком, с шумом валятся в воду. Летят брызги, звучит смех. Мешки привязаны веревками к неводу. Опустившись на дно по обе стороны его, мешки будут держать невод, как якорь держит судно.

Невод поставлен. Он идет от берега в море. Один конец его, береговой, крепко привязан к врытым в песок столбам. Другой кончается сложным сооружением из сетей. Это ловушка— «способ».

Рыба — кета и горбуша — идет косяком, огромным стадом. Рыба тычется в невод головами и сворачивает вдоль него в глубину (рыба всегда идет вглубь). Так, тычась в сеть, стену невода, рыба доходит до его конца, где заплывает в открытые ворота «способа». Рыба поймана.

Шестнадцать миллионов штук лососевых, ценнейших рыб, дают ежегодно промысла низовьев Амура.

Почему вкусна кета

Главным предметом рыболовства Амура и северо-западного побережья Сахалина служат лососевые рыбы: кета, горбуша, красная, кижучь, сима и другие. Наибольшее значение имеет кета и горбуша.

Кета делится на летнюю и осеннюю. Летняя всегда хуже осенней и значительно меньше. В то время как летняя кета весит два — два с половиной кило, осенняя достигает весом девяти с половиной кило, а в среднем весит от четырех до пяти кило. Жизнь кеты и горбуши изучена очень плохо.

Далеко в Охотском море собираются рыбы в сплошное поле. Кета, достигшая четырехлетнего возраста, приплывает сюда. Море кишит тогда от плавающей в нем рыбы и пенится от всплесков рыбьих тел. Кета группируется в две колонны: одна идет на север, к берегам Камчатки, другая — на юго-запад, через Сахалинский фарвартер, на Амур. Откуда приходит кета в Охотское море, почему рыба делится на две основные массы, какая рыба идет на север и какая на юг — неизвестно, так же как неизвестно, почему горбуша приходит только в четные года (1928, 1930, 1932, 1934 годы). Мы знаем, что горбуша в 1935 году не будет, но причины этого наука пока об'яснить не может.

Кета живет в море. В Амур она приходит временной гостьей. Тут, в пресной воде, кета нерестуется[1]. Почему икра морских лососевых рыб может развиваться и дать потомство только в пресной воде, наукой еще не установлено. Нам хорошо известна жизнь кеты лишь за время ее пребывания в пресных, речных водах.

Летом ход кеты начинается в июле и кончается в первой половине августа. Осенняя кета идет с конца августа, так числа 25—28-го (это около входа в устье Амура, в лимане) и до середины сентября. Основная масса рыбы проходит в течение трех-четырех дней. Поэтому лов ее идет круглые сутки. Надо поймать и обработать за эти несколько дней максимальное количество рыбы.

Сначала приходят «гонцы». Это огромные, толстые рыбы. Они обгоняют косяк и авангардом уходят вперед. За ними идет основная масса рыбы, начинается рунный ход.

Рыба входит в Амур — ворота смерти.

Миллионные массы кеты поднимаются вверх по реке, навстречу своей гибели. Множество огромных рек и мелких речек впадает в Амур. Это его притоки, жилы—питатели воды. Четыре года тому назад вот эти плывущие сейчас против течения огромные рыбы маленькими, слабыми мальками скатились в Амур из его притоков и уплыли вниз, ушли далеко, неизвестно куда. Четыре года прожили мальки—детеныши кеты — в море. Они выросли, окрепли и полны сил. Маленькие мальки стали взрослыми рыбами. Они разыскивают теперь брошенную родину. Они ищут речки, в которых четыре года тому назад они прорвали оболочку икры и стали жить — плавая.

Они найдут свою родину.

Рунный ход. Чешуя к чешуе, тело к телу, густой массой, сплошным потоком идет рыба. Она входит в Амур, толстая, сильная. Тело ее светится серебристой чешуей, а удары хвоста поднимают тяжелые брызги над водой. Рыбные толпы преследует зверь. Зверь пожирает рыбу, уничтожает миллионы рыб. Кругом — по берегам, у островов — кормит рыба человека. Он истребляет ее, он ловит ее заездками, неводами, сетями, бьет острогой, и все-таки рыба идет, идет вперед. Страшное, непобедимое шествие рыбы к колыбели своих детей — своей могиле — бессильны остановить и человек, и зверь. Непроходимые преграды рек, буруны, мели проходит кета. Вода кипит от толпищ плещущейся рыбы. Камни бьют рыбу своими острыми руками, но рыба идет вперед. Она

[1] Т. е. мечет икру и производит потомство.



Вот она — наша кета!

не может свернуть. Сзади, с моря, вслед первым движутся все новые и новые толпы. Они напирают, теснят. Рыбьи тела усеивают путь, рыбьи тела выбрасывают волны на берег, и через тела погибших в камнях, бурунах рыб плывут рыбы вперед...

Куда стремится рыба? Какая сила гонит ее?

Войдя в Амур, рыба идет в его притоки. В самом Амуре кета не нерестует. В море она была серебристой, искрящейся. Тело ее было тугим, крепким, полным сил, жирным. Теперь оно изменилось. Войдя в Амур, кета перестала питаться. Она идет голодная, охваченная неопредолимым стремлением пробиться вперед и там, перед смертью, создать жизнь, исполнить завещанное природой. Она стала серой. Потом почернела, и наконец чешуя ее, окрасившись в темнолиловый цвет, покрылась малиновыми полосами. Кета похудела. Зубы ее быстро отросли, челюсти загнулись. Рыба приобрела свирепый, хищный вид. На спинах самцов выросли большие горбы.

Камни ободрали их чешую, и кровь точит из рваных ран. Тело рыб становится дряблым, худым. Но они идут вперед. Они приходят в реки, наводняют мелкие заводи, тихие бухточки, заливы. Они расплываются по бесконечным просторам множества рек, впадающих в Амур, и там мечут икру и выводят мальков.

Прожив еще неделю-две после нереста, кета гибнет. Она окончательно истощена, обессилена. Тело ее в ранах. Плавники обтрепаны. Удушье терзает ее ослабевшее тело. Непривычные к пресной воде, жабры ее становятся белыми, твердыми, и кета умирает. Мертвые рыбы сплывают в Амур. Недвижные тела их безмолвно колышет река, несет течение дорогой, которой еще недавно шел их непобедимый, буйный поток. Рыбы плывут вниз, к морю, и теряются в его необ'ятных просторах.

Через пять месяцев Амуром, дорогой рыбьей жизни и смерти, вниз, в море, скатываются юркие молодые мальки. Они родились у могилы своих рыбьих отцов и матерей. Они уходят в море, чтобы, окрепнув, вернуться сюда и умереть, оставив в колыбели из камня нарождающиеся жизни.

Мясо кеты нежное, тонкое, оно тает во рту. Розовые ломтики пронизывает солнечный луч, и восхитительные капельки жира блестят на них, как искристый сок на прозрачных дольках апельсина.

Почему так вкусна кета? Почему умелые руки рыбаков могут приготовлять ее такими посолами, что не верится потом, как может рыба таять во рту?

Рыбаки знают: жизнь рождается там, где кончается смерть. Рыба живет для того, чтобы, умирая, оставить все лучшее, всю свою ношу сил и богатств, добытых в море,— жизни. Новые, рожденные вновь жизни не могут быть плохими. Они родились в муках борьбы, в гибели других.

Вот почему вкусна кета

Ночь в море

Гонцы прошли.

Это были огромные, толстые рыбы в серебре чешуи, с сизыми спинами. Они глядели долгим взглядом круглых глаз и, вздрагивая, раскрывали рты.

Рунный ход мог начаться сегодня, завтра, сейчас... Все способные к работе шли на промысла. Там готовились к приему далеких, плывущих в Амур гостей. Улыбающийся Аксарин выдавал желающим белые листы с красной звездой

посредине. Листы украшали рисунки кораблей, рыбаков, сетей. Это был «комсомольский социалистический путинный заем рабочей силы». Листы брали все.

Днем началась буря. Она налетела внезапно. Поднявшийся ветер в мгновенье заволок небо тучами. Небо стало черным, грозным. Во вз'ерошенных облаках взвилась огненной рапирой молния. Ударил гром. Чайки с визгом носились над водой, спасаясь от бури.

Волны с ревом опрокидываются на берег. Потоки воды льются из черных туч, и серые космы волн лезут из моря на берег осажденного бурей острова.

Проклятый ветер! Он сорвал ставник промысла. Сети, намокшие, тяжелые, разбухшие, выкинуло на берег. Хорошо, что их выкинуло. Невод могло сорвать и унести в море. Остальные ставники еще держались.

— Если сорвет все ставники,—говорит Аксарин, хмурясь,— придется ловить закидными неводами.

Вечером идем на берег. Дождь кончился. Небо посветлело. Из черного оно стало серым. Отсверкала молния, отгремел гром, но волны ходят большие, тяжелые. Ветер стихает.

Едем на кунгас, стоящий на дежурстве у невода.

Приходит ночь. Берег тонет во мраке. Чуть заметные огоньки его скрывают частые волны. Волны бьются в кунгас, дробятся веером брызг и рассыпаются шелестящими каплями. Ветер несется откуда-то из беспредельной темноты, с ревом проносится мимо. Волны скрывают берег.

Мы укрываемся брезентом. На мачте бьется огонек фонаря. Мы ждем рыбу. А пока Пантан рассказывает о гилякской старине...

. . . .

— Было так... Один человек заметил, что его белая собака стала куда-то убегать. Посмотрел хозяин — видит, как возвращается домой пес, так обязательно кости от горбушки с собой приносит. Дело было зимой. Удивился гиляк: где собака достать горбушку может? Стал он следить за собакой. Однажды, только свежий снежок выпал, убежал пес. Пошел гиляк по его следу. Шел, шел. Остановился. Видит — громадная дыра в земле. Побоялся гиляк в дыру лезть. Назад пошел. А собака тоже вскоре домой вернулась и снова принесла кости от горбушки. Тогда посадил собаку гиляк на цепь. Стала она скучать, рваться с цепи... Ну, думает гиляк, видно, нашла собака хорошее место. Взял он большой моток дели, из которой сеть делают. Привязал конец ее собаке на шею и спустил с цепи. Обрадовался белый пес. Побежал прямо к ды-

ре и исчез в ней. Гиляк же, разматывая дель, шел вслед за ней.

Сначала было очень темно, потом стало светлее становиться. Шел, шел гиляк, пока совсем не посветлело. Так и дошел он до конца. Вдруг видит гиляк, что вышел он к стойбищу в подземном мире.

Крики, шум. Подземный народ разговаривает, смеется. Пригляделся гиляк, а кругом все знакомые, только те, что уже давно умерли. Чистят они горбушку, юколу делают. А его белая собака подбежала, схватила рыбу, ест ее, и никто собаку не гонит. Оказывается, собака для подземных людей невидимой осталась. Так же как и они, эти подземные люди, невидимы, когда приходят на землю. Выходить-то на землю подземные люди выходят, но жить на ней никто не хочет. Потому что жизнь в подземном мире куда лучше.

Осмелел гиляк. Подошел ближе. Видит, его никто не замечает.

«Эге! — думает.— Я вас вижу, а у вас на меня глаз нету. Хорошо!»

Один из подземных людей тут как раз чак (острогу) готовил. Взял гиляк да и спрятал чак. Стали умершие люди чак искать, а ее нет. Напугались тут подземные люди, кричать стали. Разбежались в стороны. А гиляк взял горбушку, завернул ее в бересту и пошел с собакой обратно.

Идет гиляк, думает: «Вот вернусь на землю, всему стойбищу горбушку покажу, тогда поверят на земле, что я в подземном мире был, умерших людей видел».

Пришел гиляк домой, развернул бересту, а в ней одни кости, а мяса нет.

Вот так и узнали люди о том, что в земле делается.

Пантан вздыхает. В руках его вспыхивает огонек трубки. Холодная капля скатывается с брезента на мое лицо.

— Пантан! Хорошо в подземном мире?

— Конечно! — шепчет старик.— Разве может быть плохим будущее? Тогда и жить скучно. Разве направит гиляк свои нарты в стойбище, где нет ни юколы, ни хороших хозяев?

Путина

К утру ветер совсем угомонился. Утихли волны. Спать нам в этот день не пришлось. Ночь прошла в дежурстве, а утром, только донесся с берега первый, ранний звук просыпающегося промысла, начался рунный ход.

Море оставалось прежним, и только частые всплески брызг



Рыбу тщательно моют особыми щетками

и появившаяся легкая рябь на его тихой поверхности указывали опытному глазу рыбака, что рыба пошла.

Со сторожевых кунгасов дали сигналы на берег. Там, в промысловом бараке, зазвенел телефон, и взволнованный голос прокричал в трубку:

— Кета идет!

На промысле засуетились. Со скрипом раскрывались двери промысловых зданий, застучали моторы катеров, люди выходили из домов и, торопясь, устремлялись на суда, на промысел. Один за другим ушли катера. Они повели за собой вереницы пустых, кувыркающихся на ласковых волнах кунгасов.

Катера шли к ставникам.

Что это, легкая тучка нависла над морем или морское дно

неожиданно опустилось вниз, что вода потемнела у берегов, стала мутной?

Густой, кипящий всплесками поток рыб устремился вдоль берега новым, юрким в движениях течением. Рыба шла берегом, выскакивая из воды, брызгаясь, играя. Полчища рыбы проходили мимо Лангра, сворачивали в лиман. и шли в устье Амура. За ними, наступая, плыли лавиной все новые и новые армии рыб.

У ставников кипит работа. Мелькают тонкие, быстро опускающиеся и поднимающиеся, цепляющие сеть шесты с крючками, мелькают серые сетки в воздухе, черпаки, шумят катера, снуют по катерам и кунгасам люди, в воздухе разносится смех, шум, гам, люди перекликаются друг с другом, черпают, черпают без конца в кунгасы рыбу.

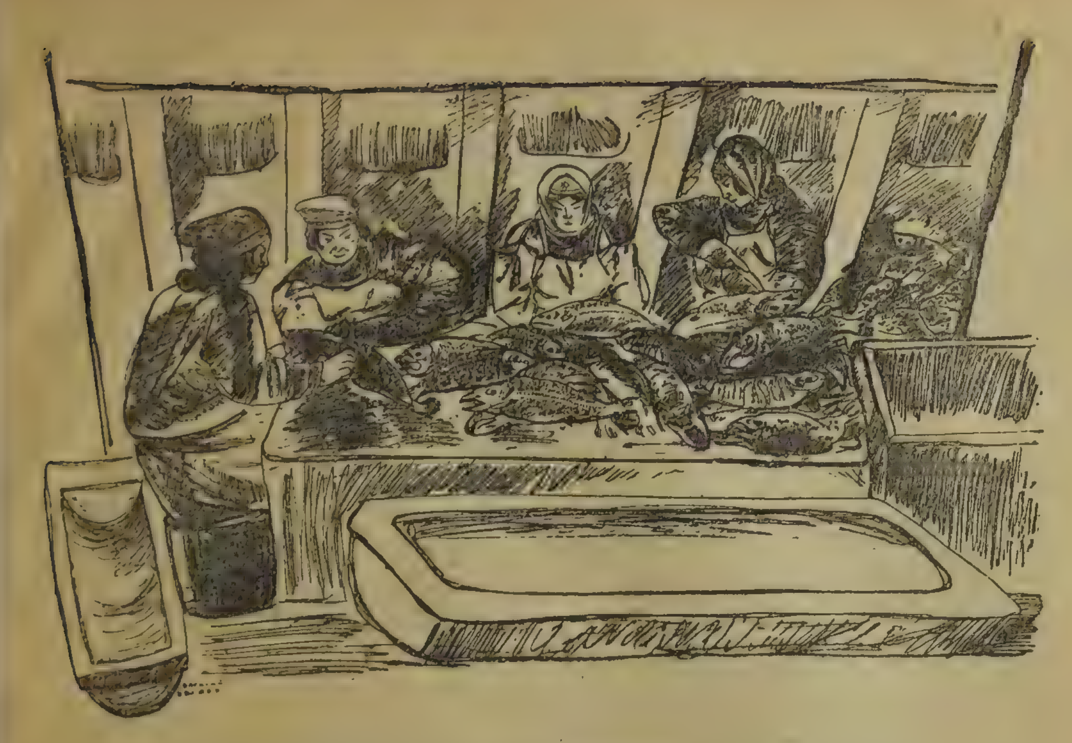
Рыба перестает бояться человека. Все новые и новые полчища ее приходят из моря, напирают на плывущих впереди, и бьющиеся брызгами, сильными, скользкими хвостами рыбы летят, кувыркаясь, перламутровым водопадом, в кунгасы. Глаза их черными кружочками смотрят на людей, и плененная рыба слабеет, тщетно пытаясь выскочить из кунгаса. Рыба идет массой, сплошным косяком.

Ловить! Только ловить!

Рыбаки перебирают шестами сетяное днище ловушки. Они перегоняют рыбу в садок, в кунгас. Один за другим уходят легкие караваны кунгасов и, как маленькие утиные стаи, плывут по воде. Кунгасы наполнены рыбой. Пыхтят черненькими трубами катера и перекликаются с другими катерами, успевшими уже увезти рыбу на промысел. Караваны возвращаются назад к ставникам за новой, свежей, только что пойманной рыбой, еще сидящей в сетяном садке невода.

Маленькие караваны движутся друг другу навстречу, и непрерывный поток рыбы несется на дощатую пристань промысла. Из серых шлангов рыбу окачивает быстрая, холодная струя воды. Вода омывает рыбу. Вагонетки наполняются рыбой, и рыбу везут на промысел. Там ее снова моют. Вода шумит, вылетая из тонких шлангов, стекает на пол, на землю. На бесконечных столах рабочие чистят рыбу. Движением ножа рассекается ее живот. Вытаскиваемая икра укладывается в специальные ящики и идет в «икрянку», где ее обрабатывают, солят мастера. Внутренности рыбы падают в особый закром. Сама рыба переходит в мойку, ее тщательно моют в воде особыми щетками.

Потом, перед посолом, рыбу подвергают охлаждению или в засольном сарае или на леднике. Охлажденную рыбу солят,



На бесконечных столах работницы чистят рыбу.

укладывают в чаны, заливают тузлуком и долгие дни перекладывают, перевертывают. Рыба должна просолиться постепенно и равномерно. Когда закончен посол, рыбу укладывают в бочки, аккуратно, рядами. Пресс втискивает в бочку крышку, железные обручи охватывают ее бока — и рыба готова к отправке.

День идет к вечеру. Не переставая, кипит работа на промысле, звенят голоса, шлепают рыбьи тела о дерево столов, льется вода, потоки воды и новые потоки рыбьих тел швыряются с кунгасов на пристань.

Приходит ночь. У берегов Лангра зажигаются на воде огни, там стоят японские суда-«морозилки». Они пришли сюда из Японии. Они покупают свежую рыбу и, слегка подморозив ее в специально устроенных в трюмах ледниках, увозят далеко на юг — свежую, вкусную.

Снуют катера. Они привозят новые, полные рыбой караваны кунгасов, и новые потоки рыбы, пахнущей морской глубинной водой, устремляются на промысел.

Рыба идет.

Глава восьмая

ПРОЛИВ

Встреча

«Ввиду необходимости точно в срок закончить работы экспедиции, форсируйте перепись северо-западного побережья Сахалина тчк 11 утром на борту баржи «Анучино» буксируемой «Воеводой» в Москаль-во выходит для присоединения к вам Шум тчк Срок окончания всех работ прибытия Москву 15 октября тчк Опоздание категорически исключается».

«Воеводы» нет.

Напрасно мы смотрим по сторонам. Каравана нет. Итти с Лангра прямо на Москаль-во мы не смогли, так как на острове не было свободных катеров и не встретилось попутной оказии. Нам пришлось воспользоваться гостеприимством пограничников и их катером «К-25», направляющимся обратно в Николаевск. Наш план был прост: встретить «Воеводу» в пути. Мы прошли уже Пуир, мыс Петах, а «Воеводы» все не было.

Проходим мимо стада нерп. Они выглядывают из воды и с любопытством смотрят на нас. Краснофлотцы вытаскивают из кубрика гармошку. Нерпы высовываются из воды чуть ли не «до плеч». Они с удовольствием слушают музыку, и звуки гармошки влекут их за нами. Мы берем винтовки. Командир смеется.

— Ребята, дайте первым выстрелить гостям, а то звери испугаются и уйдут. Сколько еще нерп будет на нашем пути...

Одна любопытная голова заплывает вперед и становится на нашей дороге. Темная голова смотрит на катер глазами, окаймленными белесоватыми кругами шерсти. Кажется, что нерпа в очках. Она слушает музыку и пристально, будто задумавшись, смотрит на нас. Палец нажимает курок. Удар. Выстрел оказался метким. Нерпа на мгновение цепенеет и медленно уходит под воду. Замедлив ход, катер врезается в кровавое пятно воды. Воду клюет багор, и матросы вытаскивают на палубу убитого зверя.

— Ее погубила любовь к музыке!



Зелены берега пролива...

— Да-а,— говорит командир,— не всякой музыке верь...

Катер идет дальше.

— Если «Воевода» замешкается выходом, вы, чего доброго, и до самого Николаевска довезете, — смеется Захаров.

Действительно, катер, имея мощный мотор, идет быстрым ходом, который не могут умерить большие волны, встающие на нашем пути.

Озерпах.

Мы входим в Амур. Большим фарвартером, кильватерной колонной идет Краснознаменная амурская речная флотилия. Семь чудовищ, в серой броне, с оскалом орудийных башен — мониторов, идут друг за другом. На мачтах реют флаги. Палубы свободны, чисты. На мостиках — вахтенные. Мы смотрим друг на друга в бинокли. Сквозь сильные стекла советского «цейса» вижу их лица. Тонкая линия, вычерченная на линзах бинокля, дробит улыбку. Они улыбаются нам... За грозными чудовищами маленькими «шавками» несутся мелкие суда... Флотилия пришла сюда в учебное плавание.

Наконец показывается «Воевода». Небольшой катер ведет две громадных баржи. Первая, идущая за ним следом — «Апучино». На мостике, рядом с баржевым, стоит Шум. Мы радостно кричим друг другу, машем кепками.

Катер подходит к барже. В миг взбираемся на палубу, благодарим за гостеприимство. Под бортом «Апучино» стучит мотор «К-25», и катер, чуть кренясь, расплескивая брызги белой пеной, стремительно уносится вверх по Амуру, в Николаевск. «Воевода» дает свисток, и наш караван трогается в путь, дальше, к Сахалину...

Скоро мы придем в Москаль-во. К северу остров идет сузившись и кончается птичьей головой. Это полуостров Шмидта. Там нам делать нечего. Поэтому от Москаль-во мы пойдем на юг к мысу Верещагина и будем переписывать только крупные стойбища, чтобы иметь возможность в срок выполнить сакраментальное число хозяйств. Возможно, что нам придется пройти южнее Верещагина. Закончив работу, мы отправимся обратно в Москву.

«Пригородное хозяйство»

Москаль-во порт лежит на берегу залива Байкал. Москаль-во — это несколько десятков домов, занесенных песком, только что построенные пристань и железнодорожный путь. Москаль-во — начальный пункт железной дороги на Охэ, сахалинские нефтяные промысла.

Уныло бродящие псы с испугом шарахаются в стороны от снующих вдоль берега паровозов. Бойко свистят кондуктора, и лязгают буферами вагоны. На вагонах написано: «Омская железная дорога». Вдали, километрах в четырех, стойбище Старое Москаль-во.

Заходим в первый дом стойбища. В темной комнате слышно сопение, грузная возня тела.

— Где живет председатель?

Молчание. Сопение приближается, гремит железо, и странно ступают чьи-то мягкие огромные ноги на земляной пол. Войдя со света, мы плохо видим в темном помещении. Захаров чиркает спичку. Что-то огромное, тяжелое шарахается с грохотом в угол.

— Нга-нга-нга! — кричит чудовище из угла.

— Медведь!!!

Мы выскакиваем на улицу. Подошедшие гиляки смеются.

...Летом ловят гиляки маленьких медвежат, выкармливают

их в стойбище и зимой, когда у русских сменяется год, совершают родовой праздник медведя.

Вскормленного зверя выводят на веревках из дома. Его окружают мужчины. Зверя травят собаками, колют длинными копьями, украшенными серебром, и убивают стрелами, выпущенными из луков. После приходят женщины. Они приходят только тогда, когда медведь убит. Женщины — переменная часть рода, они не могут присутствовать при убиении зверя, ибо праздник этот — родовой.

...Торжественно разводится родовым огнивом огонь в печке, и вареная медвежатина служит главным угощением гостей и хозяев. На праздник с'езжается множество гостей из других родов, из далеких стойбищ. В течение многих дней род угощает дорогих гостей медвежатиной, водкой, чаем, юколой. Собак гостей кормят гостеприимные хозяева, как своих собак. Великая радость торжества овладевает стойбищем. Народ ест, пьет, веселится. В стойбище устраиваются веселые игры, опытные фехтовальщики бьются на палках, собачьи упряжки состязаются в беге, и вечерами у очага старые, знающие жизнь люди рассказывают замечательнейшие сказки и предания.

С родовым огнивом, которым зажигается печь, варившая медвежье мясо, связан у гиляков трогательный обычай. Когда род разделяется и часть его выселяется в другое место, старший в роде отламывает половину огнива и вручает ее старейшему из уходящих. Этим огнивом переселенцы зажгут на новом очаге огонь на празднике медведя. Оно будет передаваться из рода в род, и уходящие получат часть его. Так «ломается огонь» рода, переходя от поколения к поколению.

В стойбище колхоза «Куб», в который входят гиляки другого стойбища — Помры, узнаем что большинство колхозников находится в стойбище Виск-во, на другой стороне залива, где у них рыболовная тонь.

Составили текстовые описания колхозов. Председатель с гордостью подает нам лист аккуратно составленной описи. Председатель бывал в городах и поэтому не хочет упустить случая щегольнуть перед приезжими своими познаниями городских порядков. Пусть, мол, знают, что и в маленьком, заброшенном на далекий сахалинский берег стойбище есть... «пригородное (!) хозяйство».

«Пригородному хозяйству план не дан, и не сделано ничего. Лошадей, коров нет. Оленей рабочих 40 штук, нерабочих 38, молодняка 25 штук, всего 98. Собак нартовых 144, медведей 6 штук» (!!!).

«Пригородное хозяйство»! Мы оглядываемся на занесенные песком домики и добродушно смеемся. Колхозное имущество — шесть медведей! Председатель обижен. «Чего смеяться? Пригородное хозяйство и есть!»

Переписали несколько хозяев, оказавшихся дома. За остальными придется ехать в Виск-во. Это нас вполне устраивает, так как Виск-во — свое стойбище и там же находится туземный райисполком. Чем населеннее поселки, тем скорее пройдет перепись. Договорились с председателем сельсовета, что завтра поутру за нами заедет лодка.

Прощаясь, заходим к медведям. Они сидят на цепях в домике, куда мы забрели сначала. В распахнутую дверь проникает свет. Медведи смотрят на нас любопытными глазами детей. Они высовывают языки и говорят: «Нга-нга». На конце длинной палки выдолблено узкое корытце. Мы насыпаем туда красной ягоды как и черной сиксы. Медведи быстро вылизывают розовыми языками ягоду. Внезапно раздается громкий крик. Это кричат москальвинские паровозы. Перепуганные медведи кидаются по углам и жалобно визжат.

— Ему сибко боится! — смеются гиляки.

— А ты не боишься?

— Сначала мало-мало боишься, все равно, как он,— гиляк тычет медведя, — а потом ничего. Привыкли, значит. Сибко хорошие машины.

Под вечер, но совсем еще засветло, идем назад. Итти лучше всего берегом. По отливу сходящая вода оставляет крепкий и ровный песок. Итти легко. Нога не вязнет. Слева песчаные холмистые дюны с зелеными пятнами трав. Травы растут, как шерсть на горбу старого верблюда. Мы их прозвали Верблюжьими горами. Лезем на них. Нога тонет в песке. Итти тяжело. Ветер легкий, свежий. Вспоминаются среднеазиатские барханы. Песок, песок, песок... Оглядываемся. Вдали видны сизые силуэты гор полуострова Шмидта. Сколько там зверья, дичи, золота, меди, свинца, соли!

Мы ложимся. Закрываю лицо картой Сахалина. Солнечный луч лезет сквозь светлое обозначение острова и щекочет глаза.

О лошадях, коровах и партийном долге

Давно, в 1846 году, зашел в эти воды на своем бриге «Константин» штурман Гаврилов и решил сначала, что это Амурский лиман, но, увидав свою ошибку, назвал этот залив заливом Обмана. Позднее заливу дано было имя Байкал.

Лодка легко скользит по воде залива. Еще рано, и свежий попутный ветер раздувает наш парус. Мы встречаем лодку с гиляками. Ветер для них встречный, и они идут на веслах. Женщины гребут, а мужчины сидят на корме — курят.

— Что ж ты, товарищ, не работаешь, а заставляешь мамку грести?

— Ему работать может. А моя некогда! Моя сибко много думает, как жить надо!

Мы проезжаем вдоль берегов острова Уж. Берега усеяны птицами. Они галдят, бродят по песку и что-то клюют.

Стойбище Виск-во расположено на берегу залива Байкал. Длинный песчаный мыс омывается с одной стороны Татарским проливом, а с другой — байкальскими водами. Песчаный мыс с песчаными горами. Ветер шевелит песок, метет его, и песок засыпает песок, заносит кустарники и строения. Прошли года. Много лет. Много лет дул ветер. Песок засыпал стойбище. На песке выросли новые юрты. Их тоже засыпал песком ветер. Так, в несколько ярусов, спит занесенное песком древнее стойбище. На этом кладбище песка и жилищ стоит последнее, живущее ныне стойбище Виск-во.

Так говорит предание.

Взбираемся на огромный песчаный холм. Море синее. Вдали черные Сахалинские горы. У ног гилякское кладбище. Маленькие домики напоминают пчельник, много домиков — целая пасека. У домиков маленькие двери. Умерших сжигают, и над могилой ставят такие домики, а внутрь складывают любимые вещи покойного, необходимые ему для существования в подземном мире: сеть, острогу, оружие, табак, водку, юколу.

Перепись идет быстро. Члены колхоза «Красный Байкал» едва успевают отвечать на наши вопросы. Писать легко. В работе выработался навык, мы уже знаем, как задавать вопросы, чтобы они были понятны, наизусть знаем бланки. Сахалинские гиляки оправдали наши предположения. Они оказались более культурными по сравнению со своими сородичами, живущими на материке. Надо полагать, что это произошло потому, что гиляки, живущие на Сахалине, пришлые люди, укочевавшие сюда с материка, и, следовательно, как и все народы, осваивающие новые места, наиболее энергичны и инициативны по сравнению с теми своими сородичами, которые остались на старых местах. Сахалинские гиляки соображают значительно скорее, у них более быстрые рефлексы, они не упустят случая посмеяться над нашей шуткой или ошибкой.

— Кандидат партии,— с удовольствием сообщают многие из них.

Действительно, в стойбище много партийцев и комсомольцев. Висковцы с охотой идут навстречу новым начинаниям. В стойбище много грамотных. Проводился культпоход. Но есть и такие, которые за несколько лет учебы не научились писать.

— Не хотят учиться, должно быть,— с грустью говорит Михаил Петрович Кульшин.— Ну ничего, потом выучим.

Михаил Петрович — человек важной должности: председатель туземного райисполкома. Михаил Петрович, пожалуй, один из немногих гиляков, имеющий, как русские, имя, отчество и фамилию. Он ходит в русском пиджаке и сапогах. Коротко остриженные волосы расчесаны на пробор. Он носит мягкую шляпу, и огромная цепь его часов болтается у жилетки. Сын Михаила Петровича учится в Ленинграде, в Институте народов севера.

— Учиться надо. Всем нам учиться надо,— говорит Михаил Петрович. — Темный еще народ. Вот взять хотя бы историю с коровами, ну разве не темные мы?

Сахалинские власти в целях поощрения гиляков к занятию сельским хозяйством пригнали в колхоз «Красный Байкал» тринадцать коров и лошадей.

— Берите, товарищи! — сказал уполномоченный.— Это вам из города прислали.

Висквовцы категорически отказались брать скот.

— Позвольте! — удивился уполномоченный.— Даром ведь дают, бесплатно. Корова-то несколько тысяч стоит!

— Не нужно! — сказали колхозники.— Чего с ней делать? Без нее жили и дальше проживем. Не надо.

Гиляков убеждали, агитировали. Наконец кохозный актив — председатель сельсовета Левкун, члены правления колхоза, Вывзин, Алик, Хевкан, комсомолец Вирман (был такой купец в стойбище — Вирман) и беспартийный Ергун, думая, что тем самым они приносят жертву советской власти и выполняют свой долг перед партией, великодушно согласились взять скот.

— Я даже еще теленка, кроме коровы, взял,— хвалится Левкун.

Всего было принято подарков семь голов. Остальных коров и лошадей пришлось увести обратно.

— Теперь ничего, хозяева привыкли, молоко пьют, соседей угощают. Даже на промысел носим — продаем по рублю бутылка,— говорит Левкун.— Трудно вот только, обращаться

с коровами как следует не умеем. Подарить — подарили, а не об'яснили, как с ними обращаться.

Великолепные породистые коровы дают в колхозе «Красный Байкал» вместо восемнадцати бутылок молока только пять-шесть. Гиляки доят их когда придется — часов в одиннадцать-двенадцать дня. Телят и жеребят загрызают собаки, или же они убегают в лес и гибнут там, в топях, от хищного зверя.

Ююк из Виск-во

Ююк живет в маленькой комнате при больнице. Над кроватью висят открытки с видами Ленинграда, Кремля. Прищурясь, смотрит сквозь очки Калинин, смеются Ленин и Сталин. Граммофон поет плавным голосом, и мы застаем Ююк, кружащуюся посреди комнаты. Ююк сконфужена.

— Что, Ююк, скучно?

— Нет! — Ююк трясет коротко остриженными волосами.— Скучать некогда. А потом — я дома. Правда, привыкла к городам пока училась, но здесь родина. Хорошо! Скучных мест нету,— говорит Ююк.— Бывают только скучные люди.— Она останавливает граммофон и усаживает гостей.

— Спасибо, Ююк. Мы хотим посмотреть больницу.

— Пожалуйста! Только сейчас у меня больных нет. Все здоровые — путина! — смеясь, говорит она.

Больница невелика. Комната для приема — белые скамейки, шкафы блестят стеклом. На стеклянных полочках разложены инструменты, лекарства. Пахнет карболкой.

— Вот тут у нас — комната для больных на пять коек. Пока свободно. Наш народ не любит лечиться. Так, за пустяками ходят, порез или ранение — такие пациенты идут, а вот лечиться, лежать не любят. Старое еще давит. Мешает Наркомздраву бог Кур. Этот седой старик постоянно сидит на небе и следит за всем происходящим в мире. Он все видит, все знает. Перед ним лежит большая, большая книга. Как только рождается человек, Кур сейчас же записывает его в свою книгу и назначает человеку судьбу: когда он должен умереть, какие болезни должен перенести, ранения, горе, радости... Поэтому гиляки, особенно старики, лечиться не хотят. «Неизлечимое не вылечить, а излечимое само пройдет», говорят они. Бывало даже смеялись: «как это ты, маленькая Ююк, и хочешь знать больше старого Кура?» — «Меня научили русские,— говорила я,— они знают больше вашего Кура! Русские знают даже, что Кура нет». Конечно нам нужен



Юiок.

доктор, но что поделаешь, — нет его, и приходится мне, только окончив техникум, работать за врача. Пока как будто дело идет на лад. Если встречается что-либо сложное, отправляю больного в Рыбное, на промысел, а так — лечу сама.

— Значит, поверили, что можно вылечиться?

— Нет, не сразу. Сначала, когда больные поправлялись, старики говорили, что я их вылечила потому, что это были люди, не записанные в книгу бога. Дело в том, что Кур три раза в день сходит со своего места — завтракать, обедать и ужинать. Счастлив тот, кто родится в это время: он ускользает от записи в книгу судеб и живет очень долго. Это его фарт. Вот такого человека лечить хорошо, говорят гиляки: все равно сам выздоровеет! Все же постепенно народ привыкает. Теперь сами приходят. Иной раз зовут. Тут конечно имеет значение и доля гордости: мол, у нас наш, гиляцкий, свой доктор есть!

— Чем же вы заняты, если в больнице никого нет?

— О, работы по горло! Во-первых, у нас не так, как в городе. Не больной ищет доктора, а, наоборот, доктор больного. Пока еще нельзя надеяться на то, что позовут, ходишь сама. Да не только ходишь. Район большой, другой раз приходится уезжать на несколько дней. Надо находить своих пациентов. Все остальное время проходит в работе с комсомольцами, детворой. Вот и сейчас меня ждут. Пойдемте, ребята будут рады, а вы нам поможете.

Если пройти от стойбища еще километра два песчаным берегом, туда, где тайга подступает к самому проливу и блестит в лесной чаще железом огромная крыша,— очутишься в Новом Виск-во.

Ююк водит нас по новому строящемуся поселку.

— Вот тузрик — здесь занимается Михаил Петрович. Вон строятся большие, просторные дома. В них переедет стойбище из старых, покосившихся гиляцких изб. Это будет новая, совсем непривычная для них жизнь. А вон там — баня. Видите, какая она новенькая! От нее еще пахнет смолой и соками деревьев. Гиляки никогда раньше не мылись,— тихо говорит Ююк.— В том доме интеграл, рядом пекарня...

— Надо будет завтра переехать сюда,— говорит Шум,— завтра «Красный Байкал» закончим переписывать, а «Куб» будем здесь...

Ююк ведет нас к новому большому корпусу.

— Это наша гордость: школа, клуб, кино!

В доме несколько комнат — классов — и один большой зал для кино и клубной работы. Нас окружают уже знакомые нам

ребята — молодежь из стойбища Старое Виск-во. Они ждут Ююк. Они встречают Ююк радостными возгласами.

— Ну, вот, ребята, — говорит Ююк,—товарищи приехали из Москвы. Они нам помогут сделать все как следует.

Нас посвящают в тайну. Через три дня состоится торжественное открытие клуба. Кроме жителей Виск-во, будут гиляки из Старого Москаль-во, Помры, представители далеких стойбищ. Гостям покажут кинокартину, а потом будет угощение.

Ребята внимательно слушают, как Ююк рассказывает нам о празднестве. У них такие лица, будто они все это слышат впервые.

— Ну, хорошо, а в чем же тайна? Ведь об открытии клуба знают все. В чем же секрет?

— Постановка! — выпаливает один из ребят.— Мы делаем постановку!

— Тише, Хэнвик! — останавливают его остальные.— Пускай Ююк об'ясняет.

— Да, мы решили устроить постановку. Кино дело хорошее, но ведь там не о гиляках... А у нас постановка специально гилякская. Сначала было очень трудно. Где пьесу взять? Нет гилякских пьес. Пришлось самим придумать.

— Кто же сочинил ее?

— Я,— говорит Ююк.— Плохая, наверное, пьеса. Не знаю я, как их по-настоящему писать. Как сумела, так и сделала.

— А играть кто будет?

— Вот они, мои артисты! — показывает Ююк на ребят.— Они и играть будут.

Ребята переглядываются, довольные:

— Конечно будем.

— Ну, что же! Давайте, что можем, сделаем, поможем. Показывайте пьесу.

Репетиция начинается...

Кино

Наконец долгожданный день наступил. Жители стойбищ Виск-во, Москаль-во, Помры и гости из Тамаль-во, Хопк-во, Юк-во и Лапк-во заполнили зал. На первых скамьях сидели старики, члены тузрика, гости, члены правления колхоза и сельсовета, дальше поместились рядовые колхозники стойбищ, за ними шумливая молодежь.

Стоя здесь за исполкомовским столом, перенесенным на время в клуб, Михаил Петрович произнес речь. Он говорил

долго и громко. Когда речь была закончена, слушатели принялись кричать. Гиляки не знают, что такое аплодисменты, и просто выражают свое восхищение словами похвалы, одобрения.

После того как у стола, покрытого красным полотнищем, с традиционным графином (тоже из тузрика), перебывали секретарь ячейки, председатель сельсовета и представители гостей и промыслов, на сцену вышел прибывший из Александровска киношник с кинопередвижкой и об'явил:

— Сейчас мы вам покажем кино...

Публика шумно повскакала с мест и с криками ужаса кинулась к выходу. Обескураженный киношник стоял на сцене, тщетно взывая вернуться. Перепуганный народ бился в дверях. Каждый хотел выскочить первым. В общей сумятице крики и стоны раздавались все чаще и громче. От страшного слова обуял собравшихся страх. Публика бежала.

Кино!

Михаил Петрович и Ююк с трудом пробились на сцену. Они громко кричали, стараясь остановить бегущих. Наконец крики прекратились, и Михаил Петрович смог заговорить:

— Товарищи! Чего вы испугались? Вам хотели показать совсем другое кино. Наше кино это не чорт...

Все непонятное, пугающее и злодейское гиляки называют «кино». «Кино» — это чорт, сатана, нечистая сила.

Михаил Петрович долго об'яснял все еще не решавшимся сесть зрителям, что такое русское кино. После продолжительных уговоров народ стал снова рассаживаться по местам.

Первую часть картины зрители сидели тихо, с недоумением глядя на экран. Так же быстро, как гиляки испугались, привыкли они к новому, хитрому развлечению и без страха глядели на непонятные картины. Особенное внимание присутствующих привлекал сам киноаппарат, стоявший в проходе. К нему подходили, трогали руками и просили у киношника разрешения покрутить ручку. Постепенно всеобщее внимание привлек аппарат, но уже вскоре радостные крики смотревших на экран возвестили всем присутствующим, что аппарат показывает замечательные картины. Гиляки громко восторгались зрелищем и шумно переговаривались друг с другом.

— Наша машина пошла! — кричал из угла Яргун, колхозник Старого Москаль-во.

— Смотрите! Смотрите! Как это он сюда добрался? Неужто через Байкал?

— Ай, как бежит! Любые нарты обгонит!

Москальвовцы радовались. Они хлопали себя по коленям, топали ногами и, чувствуя свое превосходство, гордо уверяли:

— Наша машина — самая лучшая машина! Она везде ходить может! По земле, по воде — вот какая машина!

По экрану шел поезд.

Однако всеобщий восторг уже успел смениться тишиной. Утихли разговоры. Зрители настороженно замолчали. Быстро мчавшийся поезд вдруг круто повернул, и паровоз, разрастаясь на весь экран, ринулся крупным планом в зрительный зал. Через мгновение в темном пространстве зала виднелось только несколько храбрых голов комсомольцев и русских гостей. С улицы доносились крики перепуганных зрителей.

Гости категорически отказались досмотреть картину. Только когда из клуба был вынесен и водворен в тузрик киноаппарат, они вернулись обратно, разжигаемые любопытством посмотреть представление.

Настоящее искусство

Чёт медленно потянул веревку, и занавес поплыл кверху. Рокот удивления пробежал по залу.

Под желтым пламенем развешанных ламп-«молний» сидел давно умерший здешних мест рыбопромышленник. Не успел еще Тятик, игравший его, раскрыть рта, как из зала кто-то крикнул:

— Вирман! Екшплутатор!

Зрители узнали своего старого знакомого.

— Иш, чорт, екшплутатор, как живой! — Зал шумел множеством голосов.

...Тихо живет древнее стойбище Виск-во. Темных, забитых инородцев обманывают русские купцы и полицейские. Бедные гиляки отдают дорогие меха, тысячи пудов рыбы за бесценок «экшплутаторам», кровопийцам. Старый шаман Трэн обманывает народ.

Трэн пляшет, шаманит на сцене, и Трэн, такой же старый Трэн, сидит в зале. Зрители оглядываются, смеются.

— Эй! — кричат они комсомольцу, ряженому шаманом.— Кунька! Подожди! Пускай старый Трэн вместо тебя спляшет.

Трэн злится. Он ворчит что-то злобно себе под нос, а Кунька еще бойчее продолжает пляску.

«Артисты» сначала немного смущаются. Они неуверенно бродят по сцене и говорят коротко и тихо. Но радостные возгласы из зала бодрят комсомольцев, первый испуг проходит,

речь их становится длиннее, они не смотрят себе больше под ноги, а громко кричат друг другу, спорят, огорчаются и смеются.

Как трудно играть в театре Июк! Как трудно! Вы думаете, это легко выйти на сцену и молодому Куньке или Тятику играть старика Трэна и Вирмана? А Чёт? Он совсем извелся. Он будет переставлять декорации, а пока занавес в его руках. Ну, конечно он не может удержаться, чтобы не высовывать свое улыбающееся широкое лицо на сцену. Ведь он тоже хочет посмотреть, как жили раньше в стойбище.

Дни и ночи проходили в приготовлениях к постановке. Июк мастерила с девушками костюмы. Под руководством Шума писались декорации, делались из бумаги полицейские фуражки, очки и прочая бутафория. Захарову и мне, как абсолютно неспособным к рисованию, поручено было сшивать из картонок огромные листы, на которых потом наши художники нарисовали Татарский пролив, тайгу и песок берега. А пьеса? Как трудно было ее приготовить! Сначала Июк написала текст. О! Это было совсем необычное произведение. Когда Июк жила в городе, она ходила в театр. Июк видала разные пьесы, но никогда не читала их. Она не знала, что пьесы пишутся целиком. И ее пьеса получилась совсем особенной. Она написала ее на русском языке, так как у гиляков нет своей письменности. Молодые артисты должны были сами переводить свои роли. Сами переводить и сами сочинять. Да, да! И сочинять сами. Июк написала только обозначение действий, только то, что должен был изображать артист. Например, что бедная Хымска заболела и старый шаман Трэн обманывает народ, будто бы изгоняет из нее злых духов, получает деньги, а Хымска все равно умирает. Выдумать слова и говорить их должны были сами ребята. И кому же, как не Куньке, знать лучше, что говорил шаман, когда умирала его, Куньки, мать Хымска?

Июк писала: «Вирман очень сердится». А как это он сердится, должен был показать сам Тятик. Ведь он играет промышленника! И кому, например, как не Июк и Хэнвику, было знать лучше слова тех, кого они изображали? Ведь они играли самих себя!

...Бедная Хымска умерла. Шаман получил деньги, и богатый Вирман и страшный пристав обманули темных гиляков, а непослушных били и увезли в тюрьму...

Первое действие кончилось. Чёт опустил занавес, и восхищенные жители стойбища неумело подхватили аплодисменты русских гостей.

...В маленькое стойбище Виск-во приходит советская власть. Больше уже нет Вирмана, нет страшного пристава, и новый закон идет против старого Трэна. Гиляки вступают в артель. Сразу все стойбище об'единяется в одну артель «Красный Байкал». Рыба приучила гиляков работать вместе, и колхоз крепнет с каждым днем. Старый Трэн тоже хочет вступить в артель, но его не принимают.

— Ты екшплутатор! — говорит ему комсомолец Хэнвик.— Ты обманывал народ, ты есть опиум, и живи как хочешь!

— Погодите! — кричит Трэн.— Вы еще пожалеете, что прогнали меня!

Старый Трэн, гневный, уходит.

...Юок ничего не выдумала. Комсомольца Хэнвика играет сегодняшний кандидат партии Хэнвик. Наш молодой друг Юок играет ту Юок, которая жила в стойбище несколько лет назад. Юок написала пьесу о том, что было в стойбище.

Забытые дни и дела встают перед глазами зрителей. В зале шопотом переговариваются внимательные слушатели, и сизые струйки дыма вьются над их любимыми старыми трубками.

...Комсомолка Юок уезжает в далекие города — учиться. Она встречается с Хэнвиком у высокого холма кладбища, где лежат кости их предков. Они прощаются. Юок обещает вернуться назад, на родину, чтобы, обучившись, привезти хороший новый закон. Хэнвик грустит. Уедет Юок. Он не увидит больше Юок, ее черных глаз и доброй улыбки. Хэнвик поет прощальную песню:

Ночь и день о тебе думать буду...
Где ты ходила, там и я ходить буду...
Из колодца, откуда вместе воду пили,
Твою тень черную пить буду...

О, возьми меня с собой!
Сумкой твоей с кремнем,
Что на поясе твоем висит,
Сделаться хочу!

Моя левая слеза течет и падает,
Как дождь на землю!
Моя правая слеза каплями струится,
Как кровь из раны...
Левое колено слабеет, неподвижно стало,
Правое колено, будто замерзшее, остановилось...

О, Юок! Из многих деревьев
Людям самое высокое больше всего нравится,
Так и ты из всех людей для меня
Самая лучшая, самая прекрасная...
Тебя всю целиком, Юок, полюбил я...

Старый Трэн подслушивает песню Хэнвика. Он бежит к отцу Ююк и требует назад уплаченный калым. Но отец успокаивает старого шамана.

— Все равно, — говорит он, — когда вернется Ююк, я отдам ее тебе.

Идут годы. Для счастливых они мчатся, как нарты с хорошей упряжкой собак,— быстро. Медленно ползут годы для недовольных. Страшным, старым стал Трэн. И дождался наконец свою Ююк Хэнвик. Она приехала ученая, радостная. В далеком городе она оставила свою косу и новым человеком пришла в старое стойбище.

Но Ююк не узнала Виск-во. В лесной чаще блестит меж деревьев крыша, и новые дома растут в тайге. Ююк не ушла к старому Трэну. Она рассмеялась отцу в лицо и вымыла руки мылом... Ююк поселилась одна в больнице и стала лечить людей своего народа. Хэнвик, молодой и крепкий, стал старшим ловцом в колхозе. Он встретился с Ююк и сказал:

— Я хочу, чтобы ты пошла ко мне в дом женой, Ююк.

Она покачала головой. Она сказала ему, что хотя попрежнему любит его, но не будет его женой до тех пор, пока Хэнвик не начнет учиться, и не острижет косу.

— Ведь ты коммунист! — говорит она. — Ты знаешь, что коса — наша беда, ты знаешь, что ее надо стричь, но ты боишься стариков. Ты боишься, Хэнвик!

Дни идут. Долго не решается Хэнвик нарушить старый обычай своего народа. Но Хэнвик учится, работает, растет. И наконец наступает день, когда он решает покончить с косой. Так написала в пьесе Ююк. Но Хэнвик, настоящий Хэнвик, все еще сомневался. Сколько раз он обещал Ююк снять косу! Сколько раз, после долгих колебаний и угроз отца, он приходил к ней и сознавался, что не может преодолеть в себе страх! Вот еще вчера он обещал Ююк расстаться с косой. И все же сегодня он пришел в клуб и принес с собой фальшивую косу, которую он смастерил задолго до этого дня, отрезав у одного из колхозных коней большой пучок волос из хвоста.

— Свою я спрячу под шляпу, а эту косу мне отрежут на представлении, — сказал он.

Ююк помрачнела, но Хэнвик был неумолим.

Представление приближалось к концу. Упорные уговоры Ююк возымели свое, и Хэнвик по ходу действия начал соглашаться. На пути его оставалось только одно препятствие — его отец, старик Чимчан.

Началось все с того, что совершенно неожиданно для всех артистов и даже для самого себя комсомолец Ундин, исполнявший роль старика Чимчана и изнемогавший от нетерпения увидеть, как остригут косу Хэнвика, вместо слов запрета и отцовских поклятий вдруг своим мальчишеским, настоящим голосом выпалил:

— Ну давай стригай, что ли, чорт ее возьми!

Публика ахнула. Никто не ожидал, что старик Чимчан согласится на снятие косы. И когда торжествующая Ююк, держа в руках ножницы, двинулась навстречу к Хэнвику стричь его фальшивую косу, из зрительного зала, выкрикивая на ходу проклятия, полез на сцену сам Чимчан, настоящий Чимчан, старик, отец Хэнвика!

Этого уж никакая пьеса не предусматривала. Артисты стояли растерянные. Старый Чимчан кинулся с палкой на беззащитного Хэнвика. Но в это время, не растерявшись, встал между ними молодой комсомолец Ундин, игравший Чимчана. В его руках была такая же, как и у старика, палка.

Два Чимчана стояли друг против друга. Палки их готовы были ударить, и глаза пылали гневом.

Публика повскакала с мест и, опрокидывая скамьи, ринулась к сцене. Туда взлезали уже Михаил Петрович, секретарь ячейки и гости.

— Не смей стригаться! — кричал старый Чимчан, не знавший, что стричь будут фальшивую косу.

Его уже оттащили в сторону, но он продолжал свое:

— Не смей! Я прокляну тебя. Как собаку, выгоню из дома! Старый Трэн заворожит тебя. Не смей стригаться!

— Буду, буду! — кричал Хэнвик. Злость за испорченное представление непонятным волнением поднималась в нем. Он понял, что испугался отца и кричит не от смелости, а от страха.

— Ты боишься его! Ты боишься этого темного старика! — вскрикнула Ююк, продолжая пьесу.

— Он боится его! — закричал Ундин-Чимчан, указывая на настоящего Чимчана.— Хэнвик стригайся! Неужели тебя, коммуниста, испугает старик?

Старика Чимчана крепко держали. Он прыгал из-за артистов и добровольцев из публики, забравшихся на сцену, и, яростно осыпая проклятиями и криками Хэнвика, Ююк и всю молодую братию, пытался достать до них своей суковатой палкой. Вокруг него завязалась хорошая потасовка, и, когда на сцену стал взбираться, кряхтя и охая, старый ша-

ман Трэн,Ююк, окончательно растерявшись, принялась взывать к публике:

— Уберите их! Дайте доиграть, как полагается!

— Пускай так будет! — кричали зрители. — Представляй дальше! Так верно будет! По-настоящему!

— Не смей стригаться! — кричали старики из зала, поддерживая Чимчана и боясь, что их дети последуют примеру Хэнвика. — Не смей!

— Стригайся, стригайся, Хэнвик! — кричали молодые зрители, восторженно подбадривая своего героя. — Стригай косу!

Юк ждала развязки. Оглядывая переполненную народом сцену, ребят, удерживавших Чимчана и Трэна, Михаила Петровича, тщетно пытавшегося восстановить порядок, продранные непрошенными гостями на сцене декорации, она была готова заплакать, и губы ее с грустью шептали:

— Испортили, испортили постановку!

Но тут вдруг из первых рядов русские гости принялись аплодировать и, требуя продолжения пьесы, закричали:

— Молодец, Юк! Замечательно у тебя получается! Настоящее искусство! Играй дальше!

Хэнвик вышел вперед. Он твердо помнит роль. Сколько раз на репетиции он повторял одни и те же слова! Вот сейчас он скажет их. Он привык к ним. Он говорит их.

Хэнвик стоял на авансцене. Он говорил с гиляками, повскакавшими с мест и стоя слушавшими его. Они тянулись головами к нему, и взоры их блестели любопытством. От этого голова Хэнвика наполнилась каким-то странным туманом, ее кружило, ему захотелось кричать, петь громко-громко, так, чтобы слышно было через весь пролив, в других стойбищах.

Хэнвик говорил. Он повторял заученные на репетициях слова о том, что старое рушилось безвозвратно, что новая жизнь проникла в их стойбище, что... И странное дело, заученные слова, тут, сейчас, перед занесенной палкой отца, звучали сильные, новые, будто произносимые не им, Хэнвиком, а кем-то другим, властным, убежденным в своей правоте и победе...

Хэнвик кричал. Вот они, горести, беды, нищая, жалкая судьба гиляка, старого гиляка с косой!

— Сегодня, когда моя коса упадет к моим ногам, на земле родится новый человек — новый гиляк, настоящий Нибах!

— Правильно, правильно, Хэнвик! — кинулся к нему Михаил Петрович. — Слушай меня, старого гиляка: стригайся, Хэнвик!

— Ты будешь проклят! — крикнул Чимчан, бессильный прорваться сквозь изгородь державших его комсомольцев. — Ты будешь проклят, и у тебя не будет своего рода. Ты будешь, как волк, один!

— Неправда! — воскликнул другой Чимчан. — Не бойся, Хэнвик, у тебя будет род. Самый большой и самый лучший в стране!

— Ах ты, собака! — не унимался Чимчан. — Где найдется человек, который согласится считать Хэнвика братом?

— Я! — взвизгнул неугомонный артист, игравший старого Чимчана. Он снова подскочил к нему. Два Чимчана опять стояли друг против друга. — Я! — закричал он, срывая с себя шапку и маску старика. — Я буду его родственником!

На старого Чимчана, отца Хэнвика, глядело молодое лицо комсомольца Ундина.

— Паршивая крыса! Мы раздавим тебя, как дохлую рыбу! — заревел Чимчан, сопровождая свои возгласы бранью на настоящем русском языке. — Ты будешь изгнан вместе с Хэнвиком, и ваш род будет...

— Вся Москва будет родом Хэнвика! — радостно крикнула Ююк. — Стригайся!

— Стригайся! — кричали комсомольцы. — Стригайся, Хэнвик!

Хэнвик оглянулся. Он оглядел комсомольцев, всю ячейку, взобравшуюся на сцену. Они были с косами! Так же как он, они еще не решались. Он взглянул на Михаила Петровича, на старого Чимчана. Но он не видал их. Сильное волнение застилало глаза Хэнвика. Он оглядывал своим невидящим взглядом народ и, чувствуя на себе жгучее нетерпение глаз Ююк, своих друзей, шагнул вперед, растерянно оглянулся, разом оторвал фальшивую косу и, сбросив шапку, склонил голову, подставив сверкающим ножницам Ююк черную змею косы...

Смех

Тамль-во — наш последний переписной пункт. Здесь в колхозе «Большевик» об'единены три стойбища — Хонк-во, Юк-во и Тамль-во. Колхоз большой. Колхозники еще более культурны, нежели в тех местах, которые остались позади. Многие ходят в рубашках, пиджаках, много стриженых голов. Занимаются только рыбной ловлей. Иногда, но это для себя, собирают ягоды и яйца чаек.

— Ну, вот, — говорит Шум, с торжеством ставя последнюю



Это маленький Кеф со своими товарищами по детскому саду.

точку на последнем бланке, — семьсот пятьдесят хозяйств сделано! Работа выполнена и закончена в срок!

...Обед. Эдиск бежит в столовую. Сквозь белый брезент палатки на деревянные столы брызжут светом солнечные лучи. Над эмалированными мисками поднимается пар горячего супа. У каждого колхозника миска. Каждый имеет ложку. Для желающих в особом ящике лежат гладко обструганные палочки. Но желающих нет. Ящик покрывает пыль, и палочки чернеют от времени.

Суп с'еден. За столом звучит смех. Гиляки стучат ложками по столу.

— Даешь! — кричит Занудка.

— Даешь! — кричит Эдиск, кричат ловцы. — Даешь второе!

В окошко из кухни просовывается добродушное лицо поварихи. Она ворчит, делает вид, что сердится, но у нее ничего не получается. Повариха улыбается.

— Сейчас, сейчас! Ишь, расшумелись!

Отдых.

Эдиск идет в общежитие. Большие комнаты уставлены кроватями. Как хорошо после дня тяжелой работы растянуться на мягкой постели, расправить усталые руки, грудь!.. Как хорошо!

Возле общежития, в отдельном доме, слышны голоса. Маленьких ребят одевают в цветистые комбинезоны. Руководительница детской площадки вставляет ноги ребят в штанишки. Нога не слушается, лезет не туда, потому что маленький Кеф загляделся на красивые картинки, висящие на доске. Кеф еще не умеет читать. Когда-нибудь он научится складывать из отдельных смешных закорючек разные слова. Он не знает букв и не может прочесть висящей на доске стенгазеты. Кеф играет на площадке. Рисует собак и страшных медведей. Когда Кеф вырастет, он обязательно поедет на тех пароходах, которые ездят по морю мимо Тамль-во.

День кончается. С Кефа снимают комбинезон. Кеф идет к своему отцу, и Эдиск с любовью гладит стриженую голову сына. Он приготовил ему подарок. Кеф выходит из дома и стреляет из маленького лука в собак.

На турнике вертится рыбак. Около искусные фехтовальщики бьются на палках, и шумливая молодежь играет в «третьего лишнего».

Вечер. Эдиск учится. Сегодня он узнал, что такое числитель и знаменатель. Как много знает теперь Эдиск!

Сегодня при свете керосиновых ламп Макашку и Эдиска

премировали новенькими костюмами за ударную работу. Сегодня в клубе веселятся гиляки. Слышится гармонь, искусные пальцы гармониста лихо вздымают звуки, и в полутемном зале в вихре пляски мелькают стриженые головы и вьются косы танцующих... Смех, спокойный, радостный смех раздается на берегу Сахалина.

Ты будешь мастером!

Эдиск ведет кунгас с рыбой на четвертый промысел, на завод. Кунгас подходит к конвейеру. Эдиск кидает на него рыбу. Конвейер поднимает рыбу наверх, насыпает в бункера, переносит на себе в завод.

Эдиск входит в цех.

Прохладой веет от высоких стен зала, сверкающих гофрировкой железа. Прохлада поднимается от бетонного пола, гладкого, сверкающего еще непересохшими брызгами воды. Сквозь строй блестящих и черных идолов — машин, шевелясь, играя в солнечных лучах перламутром чешуи, движется неугомонный поток рыбы. Серебряным каскадом он устремляется в машину. Острые ножи режут рыбье тело, взъерошеные щетки очищают его от внутренностей, и прозрачные струи воды моют пахнущие морем розовые тела кеты.

Машины делают все — моют, чистят, режут, вешают рыбу, укладывают в банки, стерилизуют их, красят и упаковывают в ящики. Сверкающий поток рыбы поднимается снизу, с моря, из кунгасов, и, пронёсясь через завод, сходит со спокойного русла конвейера тяжелыми ящиками, наполненными банками консервированной кеты. Машины делают все. Около них стоят люди. Они управляют потоками рыбы, они приказывают машинам, и черные идолы послушно превращают свежую кету не в юколу — сухую и надоевшую, а в сверкающие банки, наполненные рыбой, нежной, как мясо лебедя.

Шумят машины, и строгий стук их превращает голоса металла в размеренный и точный ход одних больших часов.

Эдиск, не отрываясь, упорно смотрит на директора. Эдиск просит.

— Я, — говорит он, — Эдиск из стойбища Тамль-во. Я хочу работать у машины. Хочу быть мастером...

— Эдиск хочет быть мастером! — повторяет директор. Он смотрит на стоящего перед ним в своем новеньком щегольском костюме гиляка и кладет ему руку на плечо.

— Ты будешь им! — говорит директор. — Ты будешь мастером, товарищ Эдиск из Тамль-во.

Пролив

Серый «Зверобой» режет своей острой грудью волны. Стучит мотор. Сильное сердце бьется внутри судна. Вода, расступаясь, дает дорогу морскому катеру и вьется позади него кипящей дорожкой.

«Зверобой» шел на Погиби.

— Тут недалеко, — говорит капитан, — нашему катеру ходу девять часов. Машина сильная!

Капитан открывает дверь рубки и оглядывается. На буксире тянется за нами, подплясывая на волнах, кунгас с рабочими, едущими на зверобойный промысел Погиби.

У Зеленого Гая налетела непогода. Сразу стало темно. Небо затянулось тучами, взвизгнула в вышине и с ревом ударилась в воду молния. Желтый извив метнулся через небо. Лиман стал свинцовым. Пошел дождь. Ливень несмолкаемо стучал по железной палубе и бортам.

Дождь. Тучи собирались все темнее и темнее. В задраенные иллюминаторы разглядеть ничего нельзя. А когда незаметно в темноте подкралась ночь, за бортом зияла чернота пропасти. Удары молнии ослепляющими зигзагами врывались в черные тела туч. И снова наступала темнота.

Ураганный ветер вздымал горы волн в лимане. Рев разрастался в кромешной тьме ночи и бури в гигантский лай, и катер, как сатана, летел вниз, в мглу волн, в бездну.

Кунгас давно пришлось бросить. Треща, бился он о борт «Зверобоя», подошедшего, чтобы спасти людей. Мокрые и дрожащие люди прыгали на железную палубу и, шатаясь, перебирая руками поручни и снасти, тащились в кубрик.

Двое с половиной суток носило катер по волнам! Двое с половиной суток, не унимаясь, свирепствовал ураган!

Погиби — небольшой промысел. Несколько домов, бараки, здание почты. Татарский пролив в этом месте сужается до восьми километров.

Во времена сахалинской каторги через пролив бежали каторжане. Это был единственный путь к свободе.

Очень сильное течение прилива и отлива в этом месте в связи с тем, что огромная масса воды Татарского пролива вынуждена проходить в своем движении через эту узкую, восьмикилометровую трубу, постоянная штормовая погода, возникновение штормов внезапно, сразу, делали этот путь к свободе более чем рискованным. Поэтому русские изменили

ничего не значившее для них старое название места Погоби в — Погиби.

В воде, через пролив, проложен кабель. По телефону узнаем, что на мыс Лазарева со дня на день придет катер, который, забрав с собой продукцию промысла, отправится на Николаевск. Заведующий промыслом Погиби, которого мы просим перевезти на ту сторону, об'ясняет, что катера у него нет, а лодкой ехать нельзя. Но мы настаиваем и говорим, что поедем лодкой.

Действительно, пропустить лазаревский катер—значит рисковать застрять тут надолго.

— Пятнадцатого октября мы должны быть в Москве, — говорит Шум.

— Должны! — смеется директор. — Тут, знаете ли, не Москва, подождите недельку, а может и две, тогда уедете!

От материка нас отделяет пролив. Он сер и безразличен. Волн не видно, и только небольшую рябь нехотя шевелит ветер.

До материка совсем недалеко. Вон там видна бухта, и над ней острой вершиной возвышается каменная скала — мыс Лазарева.

Мы смотрим на близкий берег, и Шум говорит:

— Надо ехать. Мы должны поспеть во-время. Опоздание задержит разработку материалов. А наша работа показала, что инструментарий нуждается в коренной переработке... Как ты смотришь — ехать или нет?

— Ехать ли через пролив? Ну конечно. Обязательно, именно ехать.

Мы идем в барак.

— Кто согласен ехать через пролив на лодке?

Рабочие молчат. Ехать никто не хочет.

— Погибнешь! — вдруг говорит один из них. — Не надо ездить, ребята.

Мы молчим. Молодой парень перебирает струны гитары.

— Заплатим хорошо. Подумайте, товарищи. Кто решится— заходите. Ехать надо теперь, пока погода позволяет.

Мы уходим домой.

*

Погода стояла пасмурная. В воздухе висели капельки дождя.

Дверь открылась. Вбежал гиляк в проолифенном, желтом плаще.

— Кто едет на Лазарев?

— Мы.

— Тогда скорее! Одевайтесь!

Директор промысла провожает нас до берега. Садимся в лодку, маленькую, с одной парой весел. Директор лезет в воду, сталкивают лодку с мели и вдруг неожиданно, с особенной теплотой в голосе, говорит:

— Ну, ребята, счастливый путь!

Лодка медленно отплывает от берега. Ровные взмахи весел.

Берег уходит назад, в сторону. На берегу директор промысла. Возле него Васька, рыжий пес, долго машет хвостом...

Нас четверо в лодке. С нами — Чугун — из Зеленого Гая, тот, что в проолифенном плаще. На веслах сидят двое. Один подменяет кого-нибудь из гребущих. Один на руле. Слегка моросит дождь. Лодка идет быстро. Гребем редкими сильными взмахами.

— Не надо торопиться! — говорит Чугун. — Еще, быть может, придется погрести сильнее...

Впереди видна сопка. Это мыс Лазарева. Под ней, у воды, бурые пятна земли и пятна пожелтевшей осенней листвы деревьев.

Едем молча. Слышны только удары весел о воду и скрип уключин.

Такая тишина бывает в операционной, когда лязгает инструмент и молчаливый хирург движением руки дает указание ассистенту.

Скрипят уключины. Течение подхватывает лодку и несет. Рулевое весло резко уходит в воду. Вода бурлит под ним, и лодка поворачивает. Наперекор быстрине нос ее смотрит выше бухты Лазарева, и так, чуть боком, упрямо, с силой, лодка идет через пролив.

Мокрая завеса дождя густеет. Туман спускается к воде. Весла чаще бьются о воду.

«Проскочим или нет?» думает каждый.

Туман спускается к воде, застилает берега, и мы плывем, не зная, куда держать руль.

«Только бы не унесло, не сбиться с пути!»

— Если угонит в открытый пролив, — начинает Чугун, — то...

Нам везет. Налетает ветер. Он вздымает туман разом, как одеяло с постели после сна. Ветер уносит туман и поднимает волны.

Они раскачивают, швыряют лодку и лезут в нее.

Мы переезжаем через первый фарватер. Вот над водой мелькнул черный бугор — бакан. Мы едем к нему. Это по-

чти середина пути. Волны начинают бросаться в лицо, мешают дышать. Мы поднимаем капюшоны плащей.

— Правь на Коврижку! — говорит Чугун. — Нас сносит!

Коврижка? Где это мне говорили о Коврижке? Я повторяю про себя это слово и вдруг сразу вспоминаю Петровскую Косу, Иски, Бронзового человека... Правее мыса Лазарева из воды пирамидой встает серая скала...

«Доедем ли?»

Кажется, в руках прибавилось силы. Лодка послушней идет через пролив, не отклоняясь, нос ее стремится к Коврижке.

— Там, пройдя второй фарватер, еще банка будет! — кричу я.

— А ты откуда знаешь? — удивляется Чугун.— Разве бывал тут?

Ветер усиливается, и нам не до разговоров. Огромные валы воды ходят по проливу. Посреди холодной стихии волн мечется жалкая скорлупка лодки. Мы не можем ехать. Мы должны убегать.

Бежать? Мы оглядываемся. До Погиби далеко. До мыса Лазарева тоже.

Кто сказал, что бежать можно только назад? Кто сказал, что когда человек бежит, то он поворачивается и устремляется обратно.

Бежать можно вперед!

И еще как бежать!

Мы гребем изо всех сил. Руки ноют от усилия. Лицо наливается кровью. Кровь крадется к нему снизу, как огонь, поднимаясь от багровеющей шеи. Ноги с силой упираются в стойки. Тела откидываются назад, и вода с брызгами летит из-под весел за лодку. Из лодки льется вода, льется за борт, в воду.

Мы летим полным ходом через волны к рыжим пятнам земли, к серым контурам Коврижки. Мы бежим, бежим вперед...

Впереди второй, главный фарватер. Это широкая стремнина течений и потоков, черная, всклокоченная пеной и горами волн.

Лодка трясется, трещит.

— Ходу! Ходу! — кричит Чугун, наваливаясь на весло.

Лицо Шума багровеет от напряжения. Захаров не переставая льет воду ведром за борт.

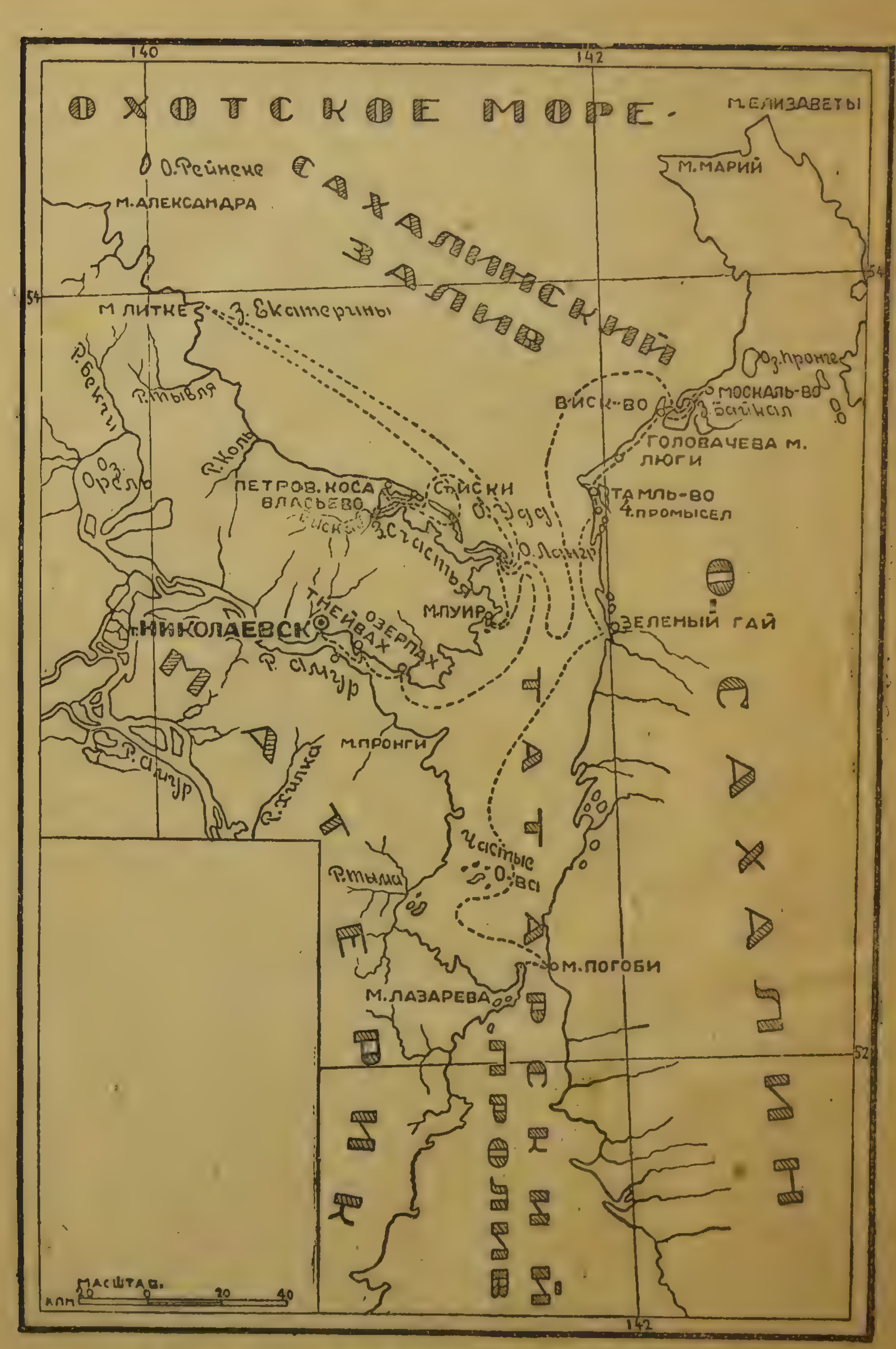
— Ходу!

Мы проносимся через залитую приливом банку Клыкова. Лодка, словно птица в воздухе, скользит по волнам. Еще немного усилий — и конец...

. . . .

— Ну вот, — сказал Чугун, откинув широким жестом свесившуюся на грудь косу, — пролив пройден!





Карта № 2. Район работ экспедиции (пройденный маршрут указан пунктиром).

ОГЛАВЛЕНИЕ

